

Вацлав
Михальский

17

ЛЕВЫХ сапог



Вацлав Михальский

17 левых сапог

«Согласие»

1964–1966

УДК 882
ББК 82 (2Рос=Рус) 44

Михальский В. В.

17 левых сапог / В. В. Михальский — «Согласие», 1964–1966

ISBN 978-5-906709-92-9

Роман «17 левых сапог» (1964–1966) впервые увидел свет в Дагестанском книжном издательстве в 1967 г. Это был первый роман молодого прозаика, но уже он нес в себе такие родовые черты прозы Вацлава Михальского, как богатый точный русский язык, мастерское сочетание повествовательного и изобразительного, умение воссоздавать вроде бы на малоприметном будничном материале одухотворенные характеры живых людей, выхваченных, можно сказать, из «массовки». Только в 1980 г. роман увидел свет в издательстве «Современник». «Вацлав Михальский сразу привлек внимание читателей и критики свежестью своего незаурядного таланта», – тогда же написал о нем Валентин Катаев. Многие тысячи читателей с неослабеваемым интересом читали роман «17 левых сапог», а вот критики не было вообще: ни «за», ни «против». Лишь фигура умолчания. И теперь это понятно. Как писал недавно о романе «17 левых сапог» Лев Аннинский: «Соединить вместе два „плена“, два лагеря, два варианта колючей проволоки: сталинский и гитлеровский – это для тогдашней цензуры было дерзостью запредельной, немислимой!» Переиздание романа, посвященное 50-летию со дня его выхода.

УДК 882
ББК 82 (2Рос=Рус) 44

ISBN 978-5-906709-92-9

© Михальский В. В., 1964–1966

© «Согласие», 1964–1966

Содержание

I	7
II	8
III	10
IV	12
V	13
VI	15
VII	17
VIII	19
IX	26
X	28
XI	31
XII	33
XIII	35
XIV	37
XV	39
XVI	41
XVII	43
XVIII	44
XIX	46
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Вацлав Вацлавович Михальский

17 левых сапог

© Михальский В. В., 2018

I

Много лет прожил он в этом городе тихо и неприметно и надеялся умереть неузнанным. Он уже давно достиг пенсионного возраста, но хлопотать о пенсии почему-то упорно отказывался. Никто не знал, кто он и откуда. Родных у него здесь не было, а немногие знакомые знали его не раньше чем с 1946 года, года, когда он появился в этом приморском городе. У него была деревянная левая нога и вишневая палка, покрытая бугорками гладких сучьев, и фуражка с надорванным лакированным козырьком. Все эти годы он жил в пристройке к мертвецкой и работал ночным сторожем в больнице. Его уже бессрочный паспорт был выдан на имя Адама Степановича Домбровского. И старые, и малые звали его просто Адамом, а отчество и фамилию помнили разве что в больничной бухгалтерии.

Усадьба больницы была очень обширной, там росло много деревьев и кустарников, поэтому мальчишки всех соседних улиц любили играть в больничном дворе.

Рядом со сторожкой Адама росло три старых тутовых дерева. Сейчас, когда тутовник поспевал, каждое утро происходило одно и то же...

Отстороживший ночь, Адам сидел на низком пороге сторожки, положив фуражку на колено, грелся в тихом раскосом утреннем солнышке. Он терпеливо ждал мальчишек. Когда, наконец, они появились, Адам облегченно вздохнул.

Впереди других мальчишек, как всегда, бежал лопухий Митька Кролик.

– Привет родителям! – звонко выкрикнул Митька, подбегая к Адаму.

– Привет! Салют! Привет! – подражая своему предводителю, прокричала вся ватага.

И только самый маленький и слабосильный из ребят, Федя Сморчок, тихо сказал:

– Здравствуйте!

– Здравствуйте! – ответил Адам.

– Ну, сегодня можно, да? – спросил Митька Кролик. – Мы уже и так два дня их выращивали.

– Сегодня можно, – ответил Адам, поднимаясь, – только на этих вот двух, – указал он на деревья. – Но зелень не обрывайте!

– Вперед! – заорал Митька Кролик, и, звеня голосами на весь больничный двор, мальчишки стали вскарабкиваться на тутовые деревья.

– Зеленые, зеленые не обрывайте! – крикнул старик и открыл дверь в свою сторожку.

II

В сторожке у Адама было чисто и светло, пахло свежесмытым полом и степью. Летом он каждый день рано поутру мыл пол в своей комнатухе – и не просто мыл, а драил веником, намазывая доски куском темного хозяйственного мыла. Эта причуда была приятна Адаму: во-первых, быстрее летело томительное рассветное время, во-вторых, он чувствовал себя при деле – за ночь он уставал сторожить, ничего не делая. Драил полы он еще и потому, что очень любил, когда все было чисто. Эта любовь к чистоте вошла в его кровь еще в годы работы на море и теперь стала одной из главных радостей жизни.

Степью пахло в комнатухе Адама от голубовато-матовой веточки чабреца, что лежала сейчас на выскобленных добела, вкусно пахнущих свежестью и хлебом досках грубо сколоченного стола. Адам очень любил этот горьковатый и такой привольный запах чабреца и поэтому часто приносил эту траву из степи, что простиралась сразу за больничной оградой.

Железная кровать с низкими голубыми спинками, стоявшая в углу у окошка, была аккуратно застелена зеленым ворсистым одеялом, подушка в свежей белой наволочке с черными штампами подчеркивала чистоту жилища. Черные штампы на наволочке происходили оттого, что белье у Адама было казенное. Каждую субботу Адам менял его в больничной прачечной. Прачки его уважали за то, что «мужик хоть и пьющий, но самостоятельный, всегда помочь старается и на все руки мастер».

Отстегнув деревянную ногу и стянув сапог с живой ноги, Адам, не раздеваясь, прилег поверх одеяла и, как всегда, надев очки, взялся читать свежие газеты. Писем почта не приносила ему вот уже несколько лет, с тех пор, как в далеком сибирском селе умер его друг и спаситель, полковник медицинской службы в отставке Афанасий Иванович Каргин. Последнее, что получил от него Адам (вернее, не от него, а от его сестры Поли, которая выполнила этим предсмертную волю Афанасия Ивановича), была посылка с зеленой настольной лампой, что стояла сейчас на столе в сторожке Адама.

* * *

Скоро мальчишки потеряли интерес к тутовнику.

– Айда, скупнемся! – предложил Митька Кролик.

Они слезли с деревьев и наперегонки побежали к бассейну. Бассейн стоял почему-то не на центральной аллее больничного парка, а в глухом углу, за психиатрическим корпусом. В центре бассейна, на постаменте, голый бетонный мальчик с отбитым носом держал в руках большую рыбу, из пасти которой била широкая струя воды. Двенадцать рыбок поменьше, лежавших по кругу бассейна, тоже давали ему воду. Бассейн был довольно глубокий, почти в три четверти метра, и воды в нем набралось до краев.

Сняв трусы и побросав их кучкой на траву под акацией, мальчишки залезли в зеленовато-черную воду и долго плескались в ней, пока самый зоркий и бдительный из них Толян Бубу не закричал:

– Атанда! Швабра!

Прячась за кустами, к бассейну подкрадывался высокий и тощий Вениамин Швабер, служивший в больнице завхозом.

Быстрее всех выскочил из воды Митька Кролик. На какую-то долю секунды он опередил старого и тощего, но быстрого Швабера, успел схватить весь ворох трусов и, прижав его к мокрому животу, побежал, петляя между деревьями.

Лысый Швабер, в роговых очках и новых желтых сандалиях, молча гнался за Митькой.

- Сачкуй!
- Митька! Давай!
- Дури его! Дури!
- Шва-а-бра! – орали мальчишки.

От охватившего их азарта мальчишки приплясывали и свистели, засунув мокрые пальцы в рот, совсем забыв о том, что они голые.

Неожиданно вильнув в сторону, Митька ловко обманул уже было настигшего его Швабера и припустил к мальчишкам. Выдохшийся Швабер замедлил бег, чтобы перевести дух и начать ругаться, но тут Митька, сам того не заметив, выронил чьи-то трусы.

– Митька, упали! – крикнул зоркий Толян Бубу. Но было поздно: Швабер подобрал трусы.

Довольный удачей, завхоз вытер трусами свою покрасневшую лысину, потом, вдруг увидев, что это не носовой платок, плюнул, выругался и, круто повернувшись, зашагал к больницы бухгалтерии, яростно сжимая в потной ладони голубые сатиновые трусы.

Мальчишки надели трусы и теперь стояли в раздумье вокруг голого Митьки. Несправедлива жизнь: трусы Митька выронил свои собственные.

- Не отдаст Швабра! – сказал Толян.
- Голяком домой нельзя, – сказал Генка.
- Слышь, Мить, – робко тронул пострадавшего за руку самый маленький из мальчишек и самый слабый в их компании Федя Сморчок, – слышь, ты посиди пока в воде, а мы к Адаму сходим, попросим. А он Швабру попросит, а?
- Точняк! – поддержал Федю Толян.
- Айда!
- Он у него возьмет!
- Он возьмет! – воодушевленно загалдели мальчишки.

III

Подбежав к Адамовой сторожке, мальчишки остановились в нерешительности.

– Иди ты, Толян! – сказал Генка Кость.

– Мне нельзя. Я его больше всех дразнил раньше.

– Да, ты там больше! – запальчиво ответил Генка. – Боишься?

– Я – боюсь?! – коричневатые маленькие глаза Толяна сузились. – Смотри, получишь, пузан!

– Сам получишь, – неуверенно огрызнулся Генка, на всякий случай отходя за спину Феди Сморчка.

Толян Бубу был готов драться в любую минуту, его боялись все, кроме Митьки.

– Пусть Федька, Федька пусть идет!

– Федька, иди!

Застенчивый и боязливый Федька Сморчок потупился. Идти к Адаму ему совсем не хотелось.

– Иди! Иди! – подталкивали его в спину. – Иди! Иди!

Больше всех усердствовал Генка Кость.

– Иди! – приказал ему и Толян Бубу.

Федя и сам не понял, как очутился он в комнате Адама и как закрылась за ним дверь.

Косые солнечные струи падали из окошка по всей комнате, наполняя ее разноцветным сверканием и едва уловимым звоном танцующих пылинок. Только в том месте, где стояла кровать Адама, еще оставалась легкая тень.

Сощутив от яркого света глаза, Федя смотрел на спящего Адама, на сверкающие разноцветные солнечные струи, на деревянную ногу у сундука и никак не мог сдвинуться с места.

– Ну давай, да! Чего стоишь! – приоткрыв дверь, угрожающе прошептал Толян.

– Дедушка! Дедушка Адам! – еле слышно сказал Федя и сделал первый шаг.

– Ну давай, да! – снова раздалось за его спиной.

Федя сделал еще один шаг, потом еще и нечаянно зацепил деревянную ногу Адама. Нога громко стукнулась об пол, и Адам проснулся.

– Чего тебе? – ласково спросил Адам оторопевшего Федю. Он очень любил этого слабо-сильного беловолосого мальчишку с такими ясными, такими чистыми и такими правдивыми глазами, что всякий человек, взглянув в них, сразу вспоминал о том, что он тоже когда-то был маленьким.

– Дедушка! Там Митька, – пробормотал Федя.

– Чего с Митькой?

– Швабра трусы отнял.

– Как это так? Снял с него, что ли? – удивился Адам, присаживаясь на кровати.

– Не, не снял. Мы купались в бассейне, а он подкрался и отнял.

– А как же Митька твой теперь без трусов жить будет? – улыбнулся Адам.

– Не знаю, – пожал тонкими плечами Федя. – Мы все пришли...

– Понятно, – сказал Адам. – Поддай-ка мне ногу!

– А чего же вы в бассейн лазаете, там же запрещено вам? – спросил Адам, пристегивая деревянную ногу.

– Не знаю, – потупился Федя.

– Не знаешь. А кто же знает?

– Не знаю.

– Ладно, пошли!

Взяв вишневую палку, Адам вышел из сторожки.

Мальчишки, поджидавшие его у двери, почтительно расступились.

Сильно опираясь на палку, покачиваясь вперед, Адам быстро шагнул по боковой аллее, ведущей к больничной бухгалтерии. Окружив Адама тесным полукольцом, спешили за ним мальчишки. По правую руку от Адама воинственно семенял Толян, по левую – Генка, а Федю оттеснили в самый хвост.

IV

Швабер имел отдельный кабинет. Хотя и очень маленький – три шага в ширину и пять шагов в длину, – но свой отдельный кабинет. Этот закуток с высоким венецианским окном он выгородил голубой фанерной стенкой из большой общей комнаты бухгалтерии в прошлом году. Он гордился своим приобретением и всякий раз любил говорить: «Зай дете ко мне в кабинет! Я буду у себя в кабинете!»

Адам знал от кухонных работниц, что завхоз Швабер ест больничное и, мало того, всегда старается выхватить лучший кусок, всегда торопится и от этого у него изо рта падает, – так кухарки рассказывали. Адам брезговал Швабером. Швабер в свою очередь терпеть не мог Адама, но, зная, что с ним дружен профессор Никогосов Николай Артемович, не решался притеснять Адама и придираться к нему.

Когда Адам отворил легкую фанерную дверь кабинета Швабера, тот крутил маленький черный арифмометр.

– Доброго здоровья, Вениамин Иванович! – осевшим хриплым голосом сказал Адам.

Швабер молча крутил арифмометр.

– Доброго здоровья! – повторил Адам громче.

Едва взглянув на него из-под очков, Швабер буркнул что-то нечленораздельное и снова крутнул ручку арифмометра.

Митькины трусы лежали на подоконнике. Чтобы достать их, нужно было перегнуться через стол Швабера.

– Я насчет пацана, трусы вы у него... – начал Адам.

Швабер моментально оживился, бросил крутить арифмометр, двумя пальцами, как что-то гадкое, поднял Митькины трусы, лежавшие на подоконнике, и усмехнулся криво, обнажив длинные тусклые металлические зубы:

– Вы отец? Мать? Дедушка? Когда они все стекло на кухне разбили на кусочки, вы пришли заступаться! Когда за кочегаркой они огонь сожгли, снова заступались! Хватит с меня, я вам говорю! – Швабер повысил голос, и зубы его звучно щелкнули.

– Пустое всё говорите, – тихо сказал Адам, – нельзя так. Пацан со стыда сгорит. Или вы сами маленьким не были?

– Я был. Я был мальчиком. Настоящим, хорошим мальчиком от хороших родителей. Я не был такой шантрапой. – Распаяясь, Швабер бросил трусы на подоконник, и они упали довольно близко от Адама. Адам понимал, что его не переубедишь, и, когда Швабер сделал вид, что разговор окончен, и склонил свою жилистую лысину над арифмометром, Адам потянулся и взял трусы с подоконника.

– Отдайте на место! – побагровев, вскочил со стула Швабер. – Отдайте на место!

– Не отдам, – спокойно сказал Адам и повернулся, чтобы выйти из комнаты. Швабер выскочил из-за стола и потными ладонями стал хватать Адама за руки.

– Уйди! – сказал Адам негромко, но так, что Швабер попятился от него.

Выйдя на крылечко, Адам отдал трусы Феде.

– Ну я покажу! Ну я не потерплю! – захлебывался из окна Швабер. Но его никто не слушал.

Мальчишки, счастливые удачей, бежали к бассейну. Адам шагал к себе в сторожку и думал о том, что лучше было бы, если бы со Швабером обошлось без ссоры: уж очень он мелочный, паршивый человек, на все способен.

V

На другой день, как и договорились, в шестом часу утра Митька Кролик и Федя Сморчок были у его сторожки. Розовые и золотистые пятна света лежали на темной, освеженной росой земле и время от времени двигались и меняли очертания, когда медленный, слабый ветер проходил в ветвях тутовых деревьев, обступивших сторожку. Розовые и золотистые пятна лежали и на коленях, и на плечах Адама, сидевшего у порога на складном брезентовом стульчике. Толстыми грубыми пальцами он навязывал маленькие тонкие крючки на своем неказистом на вид, но испытанном спиннинге, составленном из алюминиевой трубки и метрового куска бамбука. Последний раз Адам ходил на рыбалку две недели назад с профессором хирургии Николаем Артемовичем и сейчас навязывал те три крючка, которые оборвал прошлый раз. Все эти последние дни дул «Магомет» – южный ветер, и тарашка совсем не ловилась. Сегодня с рассвета хоть и легонько, но дул «Иван» – ветер северный, и, по здешней примете, рыба должна была быть.

– Ну, че? – сказал Митька Кролик Адаму вместо «здравствуйте». – Позырь, сколько накопали! – Митька раскрыл круглую золотисто-черную жестяную банку из-под тахан-халвы: под легким слоем черной мокрой земли было полно червяков. – Сто семнадцать штук, понял! – похвастался Митька.

– Ну-ну! Молодец! – похвалил Адам.

Федя Сморчок стоял в стороне, опустив свои голубые глаза и почесывая ногу об ногу. Ему было обидно и очень хотелось сказать Адаму, что накопал червяков на своем огороде он сам и что красивая банка из-под халвы тоже его, но, боязливо поглядывая на лопухую голову Митьки Кролика, он молчал.

– А ты мне закидушку дашь? – спросил Митька Кролик Адама с плохо скрытой тревогой в голосе.

– А вон приготовил, – кивнул Адам на землю. Рядом с его живой ногой лежала дощечка с аккуратными выемками, на которой была намотана светло-зеленоватая леска.

Митька благодарно промычал и, взяв закидушку, стал ее ласково рассматривать. И крючки, и литое свинцовое грузило, запрятанное до половины в розоватую резиновую трубку от медицинской кружки, – все было в полном порядке.

– Пошли, что ли! – сказал Адам, насадив на крючки кубики зеленой резины, чтобы крючки не кололись и не цеплялись. Встав, Адам сунул под мышку свой складной стульчик, взял из комнаты сетку с чем-то завернутым в газету, и они тронулись в путь. Митька Кролик со спиннингом Адама, как заправский рыбак, гордо шагал впереди, а Федя нес невидную закидушку и банку с червяками. Так они вышли за ворота больницы и пошли по широкой немощеной улице, поросшей темно-зелеными островками гусиных лапок. Идти по этой тихой, еще не проснувшейся улице было очень приятно. Свежий мягкий воздух очищал старую грудь Адама и глубоко входил в чистые, нежные легкие Митьки Кролика и Феде Сморчка.

По всей улице лежали розовые и золотистые пятна света, а вдоль дощатых заборов шли далеко голубоватые легкие тени. В тех местах, где золотистое пятно попадало на островок гусиных лапок, еще мокрых от росы, они вспыхивали ярко-золотым светом, а там, где попадало пятно розовое, горели ярко-алые места. По всей улице, уходящей далеко-далеко в сиреневый туман, никого не было видно, только у домика с зеленой калиткой сморщенный старичок Аркаша пас кур. Он сидел на низенькой табуреточке с прутиком в руке и строго смотрел за десятком рябых и красноватых кур, ходивших не спеша между островками травы.

– Ловись, рыбка большая! – радостно поднявшись с табуреточки, приветствовал рыбаков Аркаша, улыбаясь всем своим сморщенным темным личиком. – Покурим, што ль? Найдется?

Еще не доходя до Аркаши, Адам полез в карман за кисетом, потому что знал, что Аркаша обязательно попросит курева, и совсем не потому, что ему так уж хочется курить, а потому, чтобы «поговорить с человеком», а табачок у Аркаши и свой был. Аркаша достал курительную бумагу, свернул крутку из Адамова табака, прикурил и сказал, подумав, то, что говорил подряд уже много лет:

– Ну, как дела? – сказал Аркаша.

– Помаленьку, – отвечал Адам.

Аркаша пососал самокрутку, выпустил дым и продолжал беседу:

– Ну, как жизнь? – сказал Аркаша.

– Да ничего...

– Ну погода-а! – сказал Аркаша, счастливо обводя округу своей маленькой ручкой с папироской между темными пальцами.

– Погода что надо! – подтвердил Адам.

Митька и Федя прошли вперед и нетерпеливо смотрели на Адама и Аркашу.

– Да-а, – сказал Аркаша, подумав еще немножко. – Да-а! Так на рыбалку, значит? Рыбу, значит, ловить?

– На рыбалку, – подтвердил Адам. – Так я пойду.

– Счастливого пути, доброго здоровья! – сказал Аркаша и радостно снял с лысой маленькой головы зеленую засаленную фуражку.

– За Толянком зайдём, а? Наверно, дрыхнет, – сказал Митька, – все равно остановка напротив его дома.

VI

Вышли из автобуса на конечной остановке, у старого рынка. Перейдя масляно сверкающие на солнце, отливающие голубоватым светом рельсы железной дороги, мимо старинной пожарной каланчи, в раскрытых воротах которой стояла новенькая ярко-красная спецмашина, мимо пустыря, усеянного камнями и смятыми жестяными банками, они прошли в переулочек на стыке дворов бондарного завода и рыбоконсервного комбината. Справа от бондарного завода стойко пахло дубовой клепкой, а слева, из другого двора, пахло мокрой солью, рыбой и пряным маринадом. Узким переулочком, где смешались в воздухе все эти запахи, мимо тенистого двора маленькой ведомственной больницы они вышли к самому морю. Навстречу им высокий парень в брезентовых штанах и желтой вылинявшей майке тащил высокое цинковое ведро, доверху полное серебряной тарашки.

– Ух, идет! – воскликнул Митька Кролик. – За сколько наловил?

– С четырех утра! – гордо блеснув черными навывкате глазами, ответил парень. – Здорово шурует, только мелковатая.

Крутые, но невысокие волны ревно бежали к каменистому берегу.

Море! Что бы он делал, как бы он жил все эти годы в этом чужом городе, если бы не было моря... С морем были связаны лучшие годы жизни Адама. Оно для него было живой водою, радостью его и единственным поверенным его тайных дум. А думать было над чем...

Первые годы он жил напряженно, как зацепившаяся за камень леса, натянутая на разрыв, но постепенно море успокоило его, и теперь он задумывался о своем положении все реже и реже...

Митька Кролик и Толян Бубу кольцами разматывали на камнях леску своих закидушек, Федя освободил крючки на спиннинге Адама от резинок и пытался насадить червяка. Пальцы слушались Федю плохо, скользкий червяк вырывался, не хотел на крючок, и Федя два раза наколол указательный палец, но настолько был поглощен работой, что даже боли не почувствовал. Бедный червяк, которого насаживал Федя, наконец собрался на крючке гармошкой.

– Ну, молодец! Ну, спасибо! – обернулся к Феде Адам. – С тебя рыбак настоящий будет.

Федя покраснел от удовольствия и покосился на Толяна и Митьку: слышат ли они?

– Только следующий раз всего не пяль на крючок, оборви половинку, вот так. – Адам твердым ногтем поделил червяка пополам и одним коротким и плавным движением пальца красиво надел его на крючок. – Видал?

– Видал, – сказал Федя.

– Ну, давай, насаживай, а я потом закину.

Польщенный доверием, Федя вспотел, прежде чем наживил все восемь крючков.

Десятки мужчин и парней ловили по берегу, но мальчишки видели и отметили с гордостью, что все они забрасывают гораздо ближе, чем их старый Адам. Грузило, пущенное со спиннинга Адама, летело не высоко и не низко и было пущено так умело и сильно, что могло пролететь еще дальше, но вся леска уже повисла над морем, и, дернувшись в воздухе, грузило упало в воду далеко за островком каменных плит. Адам чуть-чуть подмотал на пустую катушку и поставил ее на тормоз.

– Плачет! Плачет! Толян, позыр! Идите все! – закричал Митька, уже успевший снять с крючка первую тарашку.

Толян и Федя подбежали к маленькой рыбке, подпрыгивающей на сухом горячем сером камне. Рыбка тоненько пищала.

– Вай-я! – сказал Толян Бубу.

– Давай отпустим ее, – со слезами на глазах попросил Федя.

– Что, кричит рыбка? – подошел Адам.

– Плачет! – ответили ему разом мальчишки.

– А чего же ей не плакать? Брось-ка ее в воду!

Митька послушался Адама, быстро бросил рыбку в вымоину, полную прозрачной воды. Рыбка покружилась по ней и забила на дне, в тину.

– Никогда я не видал, чтобы рыбы кричали, – задумчиво сказал Митька. – Может, она редкая, может, ее в музей сдать?

– Мало ты еще видал, – улыбнулся Адам. – Все рыбы разговаривают меж собой – от кита до кильки.

– Да-а? – недоверчиво протянул Толян. – А на каком языке?

– Каждый на своем, а иначе зачем бы они жили, если и поговорить нельзя.

– А может, у них все как у людей? – сказал Митька.

– И в школянку ихние дети ходят, – подхватил Толян.

– Нет, – возразил Митька, – дурные они, что ли.

– Рыбам хорошо, – задумчиво проговорил Федя, – плавай себе и плавай.

– А на крючок? – ехидно прищурил свои коричневатые маленькие глаза, спросил Толян.

– На крючке плохо, – вздохнул Федя. – Тогда, значит, человеком лучше.

– А разве человек не ловят?... – пробормотал Адам, но сквозь шум разбивающихся волн его невнятные слова не долетели до мальчишек.

VII

К полудню ветер упал, но волны стали длиннее и накатистее. Гладкое пространство воды, словно натянутое между гребнями бегущих волн, тяжело колыхалось изнутри. Зарождалась большая зыбь.

На две закидушки и спиннинг они поймали больше сотни тарашек и уже израсходовали к тому времени всю наживку. Митька Кролик и Толян Бубу насобирали под забором жирзавода серых, испачканных в песке щепок и бумажек, нашли кусок проволоки и решили жарить тарашку.

– Чего же вы хотите на юру разжечь? – оставив свой спиннинг на Федю, подошел к ним Адам, видя, как они зря палят спички и как ветер сбивает пламя. – Вот здесь, у забора, за камнем, – другое дело, а не сверху! – Адам нагнулся, взял все щепки и перенес их на полосу темного сухого песка, слегка залитого мазутом, в укрытие, сел на камень так, чтобы не мешала култышка, сам сложил костер и одной спичкой разжег его. – Понял? – подмигнул он Митьке.

– Молоток! – сконфуженно похвалил Митька.

Митька и Толян продевали проволоку рыбам под жабры и жарили их в светлом, почти не видимом на солнце пламени. Адам поднес сетку с газетным свертком. Там оказались полбуханки серого хлеба, десять больших спелых помидоров и соль в пакетике. Все это он разложил на газете.

А Федя Сморчок тем временем продолжал рыбачить. Наживки на крючках не было – Федя ловил «на нахалку». На море он бывал очень редко, и всего второй раз в жизни ловил рыбу и упивался своей самостоятельностью настолько, что в азарте ничего не видел и не слышал вокруг.

– Иди есть! – позвал Федю Адам.

И как раз в этот момент леска, которую Федя для верности держал пальцем, дернулась. Федя подсек, как умел, и стал торопливо крутить катушку. Леска шла то с напряжением, то легко, и Федя не мог понять, попалось что-то или нет, и сердце его от этой неопределенности билось еще сильнее. Ах, как хотелось Феде, чтобы попалось! Он вытянул бычка, глазастого, темно-серого, сильного маленького бычка.

– Вот бычок! Вот бычара! На нахалку! – радостно кричал Федя, чтобы все видели его удачу.

– Самый лучший родитель – бычок! – разламывая хлеб, сказал Адам. – Как только его подружка гнездо из песка вылепит и икру туда покладет, он на пост заступает и стоит до смерти, ни на секунду никуда не отходит, так с голоду и помирает на посту, но зато детям за ним как за каменной стеной. Вот какой отец, этот бычок!

– Смотри – бычара!

– Во дает! – в один голос восклицались Толян и Митька.

Федя молча освободил бычка и пустил его в светлую прозрачную лагуну между черно-зелеными камнями. Бычок вильнул, еще вильнул вперед и пропал в белой пене нахлынувшей на берег волны.

– Отпустил! – одобрительно улыбнулся Адам.

– Отпустил! – с удовольствием сказал Федя. – Кто же его детей охранять будет?!

– Дурак, – сказал Митька, – он, может, еще неженатый, он еще молодой и все равно подохнет после крючка.

– Он вылечится, – сказал Федя, – а потом поженится и будет охранять своих детей.

Бычок уже скользил где-то в далекой темной глубине навстречу своим будущим детям, а Федя все смотрел и смотрел в море, то празднично изумрудное, то свинцово-серое в тех местах, где высокие облака бросали свою тень; облака эти скользили по небу, и по морю, и в ясных гла-

зах маленького Феде, проплывали навстречу другим землям, чтобы пролиться живою водою на другие, нездешние поля, чтобы укрыть от горячего солнца каких-то других, неизвестных Феде людей, которых он не узнает никогда в своей жизни, и они никогда не узнают о том, что живут на земле Федя Сморчок, Адам, Митька, Толян, хотя одни и те же облака в один и тот же день проплывали над их головами.

Они жевали сладкое белое мясо тарашки, закусывали помидорами и хлебом. Все было удивительно вкусно.

– Слышь, – после общей паузы тронул Адама за рукав серой миткалевой рубашки Толян Бубу, – слышь, а если землю съешь, че будет?

Для Толяна вопрос этот был не праздный. Вчера он у себя во дворе клятвенно ел землю, и теперь ему казалось, что она застряла у него в животе комком и никогда из него не выведется.

– А никакого вреда не будет, – отвечал Адам. – Есть в других странах люди, которые очень даже любят землей питаться, в Иране, например, или в Южной Америке. Они специально землю собирают по рекам, сушат и едят заместо сыра.

– Ну да? – не поверил Митька. – И откуда ты все знаешь?

– Так с мое поживи – и ты знать будешь, – хитро сощурился свои маленькие светлые глаза, отвечал Адам. – Земля слухом пользуется.

– Значит, ничего не будет? – просиял Толян Бубу.

– Ничего, – подтвердил Адам.

Съев все, они сложили улов в сетку и пошли домой.

VIII

Дома Адам отстегнул ногу и лег спать.

Крепко спал он, как и все старики, лишь первый сон – два-три часа. Другую половину времени Адам досыпал урывками, кашляя, ворочаясь, борясь с желанием закурить.

Окончательно проснулся он вечером, на грани ночи, ко времени дежурства. Небо успело налиться ровной мерцающей синью, опрокинулось над землею легким шатром в золотых пробоинах звезд.

Адам тихо приподнялся с топчана, пристегнул култышку, взял вишневую палку и неслышно вышел за дверь. Осторожно, как будто неся в руках полную чашу, ковылял Адам, напрягаясь умом, чтобы удержать нахлынувшие во сне картины далеких дней.

Но с каждым новым кустом или кочкой, на которые приходилось отвлекать внимание, живая вереница картин, чувств и запахов бывшей жизни таяла. Уже через сотню шагов он расплескал все. Осталось лишь несколько затвердевших в памяти картинок.

* * *

...Черная, прямая и гладкая, как ружейный ствол, дорога в кошеном ячменном поле. Багрово-дымный, расплывчатый закат в конце дороги, закат, похожий на вспышку выстрела.

Бело-желтая кляча устало тянет телегу, в которой едет он, Алексей, белоголовый мальчишка десяти лет, восьмилетние братья его, близнецы Сашка и Мишка, и мать, длинной грудью кормящая самого младшего брата Ваську. Едут они со всем своим скарбом в город к отцу. Отец уже полгода как устроился в городе на фабрику и вот вытребовал семейство...

* * *

– Леха! Грянь! Грянь! Леха! Барыню! – главным колоколом гудит могучий и старый, как замшелый степной камень, дядька жениха.

Алексей послушно берет гармонь на колени, надевает на плечо ремень. Его и пригласили на свадьбу не как соседа, а как знатного на всю слободку гармониста.

Женится его одноклассник – путевой обходчик косоплечий Федор. Через весь Федоров двор уставлены в один длинный ряд крытые общей скатертью столы.

Румяная, красивая невеста нравится всем. Дважды встречаются серые глаза Алексея с ее черными, возбужденно блестящими глазами.

Теплый ветер кружит над слободкой белый яблоневый цвет и лихие переборы Алексеевой гармошки. Пляшет свадьба...

* * *

...Мать только что подала ему к холодцу тертый хрен с уксусом, он хватил его целую ложку и задохнулся. В это время в окно постучали.

– Кто там? – подошла к окну мать. – Ах, бесстыжая! – всплеснула она руками. – Среди бела дня! Людей не стыдится! Я ей сейчас покажу, стерве!

– Мама! Не смейте! – увидев, кто за окном, вскрикнул Алексей.

Мать, пораженная его окриком, отступила от дверей, а он, как был в одной рубашке, выбежал на зимнюю улицу.

– Ушла я, ушла от Федора, иначе удавлюсь! – с тихим отчаянием встретила его Маруся.

– Ты что, ты что, Марья! – только и нашелся он что сказать. По черным кругам под ее глазами, по неестественной бледности лица, по бессильно опущенным рукам и потерянному, блуждающему взгляду он понял, что если отпустит ее от себя, то быть беде.

– Что ты, Марья! Пойдем! Пойдем! – бормотал он, стараясь отвести ее подальше от своего дома. Она покорно шла рядом, а он, шагая по завьюженной сумеречной улице, не знал, куда ее вести.

На счастье, по пути встретила крестная с обледенелыми ведрами на коромыслах.

– Ты что, Алеха, раздетый? – остановилась крестная, осуждающе окидывая с ног до головы закутанную в шаль Марусю.

– Крестная! – обрадовался Алексей. – Крестная, прими нас на квартиру, вот меня и Марью! Прими, крестная!

– Это как же мужнюю жену да с тобой в хату пускать? Забьет меня Федор и прав будет.

– Не забьет. Я его сдюжу. Пусти, бога ради, крестная!

– Ладно, – решительно сказала крестная. – Беги домой оденься, а то и смотреть на тебя зябко. Пошли, что ли, – повернула она голову к Марье, – пошли скоренько, чего среди улицы торчать.

С тех пор стали Алексей и Мария мужем и женой...

* * *

...Когда родилась Лиза, он не очень-то обрадовался: дочка, а он ждал сына и уже имя ему определил – Степан, в честь своего отца. Он даже обиделся на Марусю, что родила ему дочку, но смолчал. Марусе и так было труднее, чем ему: бабы в слободке показывали на нее пальцами, она была первой, что нарушила церковный брак и ушла от живого мужа к любовнику. Крестная, сломленная всеобщим бойкотом слободки, твердила им:

– Уезжайте с глаз, постылые.

Дождался он, пока Маруся чуточку окрепла, собрали свой немудреный скарб, завернули Лизку в одеяло из лоскутков, что сшила ей крестная, и, пользуясь наступившим теплом, ушли пешком из слободки в город искать счастья...

* * *

...Лиза. Дочка. Он раньше не знал, что есть на свете такая любовь. Он мог часами расчесывать и заплетать своими грубыми пальцами ее светлые, как золотые лучи, волосы, обувать ей сандалики, мыть руки, смотреть в безвинные, широко открытые глаза в черном венчике огромных ресниц. Лиза, дочка!

Он испытывал величайшее счастье, когда смотрел на нее спящую, еще больше, когда она просыпалась и, улыбаясь ему первому, протягивала к нему руки:

– Папа!

– Алексеевна, – называл он дочку в шутку и никогда не уставал ее нянчить.

– Ты поспал бы, ведь с ночного дежурства пришел, – говорила Маруся.

– Что ты! Вот Алексеевна заснет, тогда и я с ней рядом на часок прикорну.

Лиза. Дочка...

* * *

...Он уже оделся, когда Маруся остановила его:

– Еще темно на дворе. Куда ты в такую рань? Говорила, что вчера надо было купить...
Где ты их сейчас найдешь?

– Ничего, найду.

Лиза отбросила одеяло:

– Мы опоздали?

– Спи, спи, еще рано.

– А папа куда?

– На базар.

Он шел по голубому городу, и к его ногам падали первые осенние листья. Возле закрытых еще ворот базара стояла толпа. Тех, кто подносил цветы, валили прямо с ног, но он все-таки купил. Купил не астры, не георгины, а чайные золотистые розы. Конечно, переплатил втридорога. Если Маруся узнает, сколько он заплатил за букет, скандалу не миновать! Он шел домой, и все смотрели ему вслед, спрашивали:

– Продаете?

– Сам купил.

Лиза встретила его за воротами:

– Ой, папочка, ой, розы! Где же ты их взял? Розы же цветут весной?

– А для нас с тобой расцвели осенью, – рассмеялся он.

В доме у них был праздник. Вкусно пахло пирогами, яичницей с колбасой. Сели за стол, покрытый белоснежной скатертью. Но Лизе было не до еды:

– Ой, папочка, опоздаем!

– Да еще целый час.

– Лучше пойдем, родненький.

– Да нам десять минут идти.

– Все равно! Лучше пойдем, папочка, лучше пойдем!

Маруся проводила их за калитку, сняла пушинку с его пиджака, поправила в косах у Лизы белые банты.

– Ну, в добрый час! – и заплакала.

– Ну, ну, мать! – проворчал он и незаметно для дочери и жены сам вытер слезы.

Лиза взяла отца за руку, в другой она несла портфель.

– Ты возьми цветы, а мне давай портфель, – предложил он.

– Нет, папа, что ты, нельзя – я же ученица, а не ты, – серьезно сказала дочь.

Он нес розы первый раз в своей жизни, нес и не стеснялся. Так они и шли шаг в шаг, он приноравливался ставить свои большие кирзовые сапоги рядом с ее маленькими желтыми туфлями с одной перепоночкой. Шли молча, но столько мыслей, столько чувств теснилось в голове и сердце каждого, им было так хорошо, что они забыли, что молчат.

Рядом с ними, позади и впереди них шли такие же чистенькие и торжественные мальчики и девочки с бантами, с цветами, держа за руки пап и мам. Со всех концов к школе плыли букеты. «Какой необыкновенный день! – подумал он. – А раньше я и не замечал». С тех пор, где бы он ни был, что бы ни делал, он никогда не оставался безучастным к первому сентября.

Они долго ждали в школьном дворе. Но вот первоклассников построили парами. Он отпустил дочкину руку, отдал ей цветы. И смотрел, все смотрел на свою Лизу, подбадривал ее взглядом. Зазвенел звонок. Учительница взяла первую пару за руки и повела в школу, за ней потянулась вся длинная цепочка – первый класс. Лиза с букетом роз, закрывающих ее лицо, и с портфелем, то и дело спотыкаясь, последний раз улыбнулась отцу и ушла от него вместе со своим первым классом. Первый раз ушла от него в свою, ей одной доступную, ей одной предназначенную жизнь, а он остался стоять один в школьном дворе.

* * *

...Они возвращались в порт, уголь был на исходе. Алексей отдыхал после вахты, когда машина остановилась. И вот уже третьи сутки мотало маленький рыболовецкий поисковик по тяжелым мглистым волнам, все дальше и дальше унося беспомощное, потерявшее управление судно от родных берегов.

Третьи сутки без сна и отдыха бился над остановившейся машиной кочегар Алексей Зыков. Не первый год плавал Алексей, довольно хорошо знал машину, но разбирать ее ему никогда прежде не приходилось. Его напарник, рыжий тридцатилетний детина, считавшийся одновременно и механиком, обварил себе паром обе руки по локоть и все эти дни лежал в кубрике и тихо скулил от боли. На вторые сутки, как будто двойню, неся перед собой спеленутые руки, он кое-как спустился в машинное отделение.

– Алексей, цилиндры. Алексей Степанович, может, цилиндры задрались? Погляди!

Он угадал, наверно, потому, что ему очень не хотелось умирать. Он угадал: задрались цилиндры.

Когда на исходе третьих суток машина начала работать, весь экипаж, все пятеро ожили от радости. Но первая радость скоро схлынула, и все подумали одновременно о том, что угля очень мало...

– Все равно недотянем, – сказал напарник Алексея, – я сон видел такой, что как будто целая поляна кровью залита и вороны, вороны! Недотянем, все равно погибать, братцы! Зря трудился, Алексей Степанович!

Капитан молчал, и все молчали.

– Дотянем, – твердо сказал Алексей, – дотянем, я отвечаю. Этим углем трое суток можно работать: первейший уголь.

Всю ночь Алексей держал пары. Спасение зависело от его искусства кочегарить: он должен был заставить каждый кусок угля отдать весь огонь, который был в нем заложен, весь жар, всю силу.

Когда он бросил в топку последнюю лопату угля, от бессонных ночей и усталости все поплыло, поплыло перед его глазами, и в это время сверху раздалось:

– Мурманск! Пришли!

В порт вошли они утром двадцать третьего июня. Сон напарника оказался в руку – кровь уже заливала поля, и вороны кружили над нашей землей. Шел второй день войны.

* * *

Под чужим именем, худой и согбенный, с душою, казалось, выжженной дотла, на дне которой была лишь горстка пепла, добрался он, теперь уже не Алексей Зыков, а Адам Степанович Домбровский, в тот город, где незадолго до войны купили они с Марусей дом, думая обосноваться на всю жизнь, до смерти.

Прежде чем купить себе дом и обосноваться на прочное жительство, они изъездили много городов. Этот город полюбился им чистыми, прямыми и тенистыми улицами. Текла через город речка, тихая, заросшая плакучими ивами. И заводов вокруг было немало, и два института, и техникумов пруд пруди, и базар богатый. Все они с Марусей осмотрели, все прикинули. Не только по себе мерили – думали и том, чтобы хорошо тут жилось Лизе и ее детям и внукам.

На покупку дома ушли все сбережения, поэтому решили, что Лиза с Марусей останутся жить в новом доме, а он еще победует на холодном море. Море Алексей любил, Север любил.

Недаром Маруся говорила: «Я на Север за рублями приехала, а ты, видать, за северным сиянием».

Уехал Алексей из дома снова в Мурманск. Перед отъездом почти весь день просидели они с Лизой на берегу речки под плакучей ивой. Речка протекала мимо их двора. В октябре обещал приехать домой, а в июле уже был на фронте. Так и пошло все наперекос да навыворот...

Еще тогда, когда лежал у Афанасия Ивановича в больнице, он просил его написать Марусе, разыскать ее следы. На запрос Афанасия Ивановича пришел ответ, что М. И. Зыкова и Е. А. Зыкова в городе этом больше не проживают, выбыли в неизвестном направлении. Писал Афанасий Иванович и в родную слободку Алексея, его крестной. Оттуда пришел ответ, что М. П. Кузнецова скончалась, а М. И. Зыкова и Е. А. Зыкова не проживают. Вот так и потерялись все концы. Казалось, навсегда потерялись... Но все-таки он приехал в тот город.

...Ива грустная, серебристая, ива чистая у утренней реки. Склонилась у реки, как усталый путник, опустив в медленную воду длинные ветки. Возле ивы, у которой он когда-то сидел со своей дочкой Лизой, опустился устало Алексей. Снял свою деревянную ногу, с непривычки больно натершую колено, снял рубашку и долго мылся в реке, словно желая смыть все кошмары... Рядом, совсем рядом чернели обгоревшие пеньки его сада, а от дома осталась одна печь с трубой.

Успели ли уйти Лиза и Маруся? Соседи, которых он расспрашивал, сказали ему, что хозяйева дома эвакуировались. Где же они? По живым или по мертвым тосковать ему, Алексею?...

* * *

Почувствовав, что все растерял, что отступили, ступевались в мутную мглу видения, подаренные сном, Адам остановился в растерянности и досаде.

– Э-хе-хе! – протяжно просипел он, доставая из кармана штанов кисет и трубку.

Продувая трубку, громко сплюнул горькую табачную накипь. Отсыревший от тела, табак раскуривался плохо. Адам терпеливо плямкал, не забирая дыма вовнутрь, выпускал его круглыми облачками. И только когда, наконец, вошел в силу, затеплился в трубке красный глазок, сделал первую затяжку. Словно ершом продрало горло, и все в груди у него защемило сладко облегчающей пустотой.

Тонкий новорожденный месяц лучился в небе по-детски чистым сиянием. Увидев молодик, Адам мигом сунул руку в карман за денежкой, но там было пусто.

– Всегда ты, сатаненок, невпопад выскочишь! – укоризненно прошептал Адам, глядя на месяц. Его огорчило то, что не было в кармане монеты. Он еще в деревенское свое детство выучил: увидишь молодик – хватайся за денежку, весь месяц при деньгах будешь.

Шагая по аллее, Адам любовался тенями. Малый ветерок от моря гулял в кронах деревьев, плел на земле летучие узоры из мерцающей тьмы отраженного неба и золотистого звездного блеска. Зыбкие тени деревьев казались живыми. Первой на его пути была кочегарка. От звезд и месяца кочегарка наполнилась пепельным переливчатым светом. Черные унылые дыры топок тосковали по зиме, когда заиграет в них жизнь, трескучая, искристая, огневая. С жалостью глядел Адам в обугленные топки, заброшенными и бесприютными казались они ему.

– Погоди, щербатые, погоди, придет времечко, – успокоил их Адам, – я уж вас ублажу нынешней зимою.

За долгие годы ночного сторожевания привык Адам говорить, как с живыми, с месяцем, с топками, с деревьями...

Выходя из кочегарки, он обернулся и еще немножко постоял в дверях. Зимою он здесь частый гость, и не только потому, чтобы спастись от холода. Старый кочегар, он часами мог

смотреть в огонь и видеть в нем тысячи диковинных картин, у него и глаза-то безресницы от этой любви.

После кочегарки он направился искать своего друга мерина. Грудастый мерин был единственной живой тягой, оставшейся еще при больнице.

Через полусотню шагов слуха Адама коснулось металлическое звяканье. Почуввав знакомые неровные шаги, мерин тихо заржал и, бухая замкнутыми передними ногами, скакнул из высоких кустов навстречу Адаму.

– И дурак твой Степка, дурак-дураком! – приветствовал Адам мерина. – Сколько раз ему говорил – нет, подлый подлец, опять тебя треножит, будто убежишь куда. На Марс тебе бежать, что ли? Ду-ра-ак! Эх, дурак!

– Фы-рт! Фы-р-р-т! – согласно зафыркал мерин.

Медленно приседая на живую ногу, опираясь на палку, Адам неловко опустился на траву у ног мерина.

– Его, Степку, самого на ночь треножить, – гневно бормотал Адам, размыкая треногу.

– Сесть-то сел, а подняться – не фунт изюму! Давай, брат, башку!

Мерин послушно опустил голову до земли.левой рукой Адам обнял теплую атласную шею мерина, правой оперся о палку.

– Взяли! – тужась, скомандовал Адам.

Привычный мерин стал потихоньку распрямлять шею.

Старик уже поднялся наполовину, но тут мерин порывисто крутнул головой, и Адам глухо шлепнулся на траву.

– Ай, идол, печенки! О-хо-хо! Печенки поотбиваешь! – расхохотался Адам. – Ище разок!

Тая в черносливах глаз шкодливые искорки, мерин покорно опустил морду. Но как только Адам слегка приподнялся, хитрый мерин рванул, и снова Адам плюхнулся задом.

– Я те, идол! – смеясь, пригрозил Адам. – Я те поиграю!

В третий раз мерин благополучно поднял старика.

– Мерин-мерин, а меру знаешь! – ласково потрепал Адам его по жесткой гриве.

– На, брат, посладкуй, – поднес он на ладони ярко забелевший в ночи кусочек сахара. Мягкие дрожащие губы мерина бережно взяли ежедневный гостинец.

– Пошли, что ли, пообследуем? – предложил Адам и, повернувшись спиной к мерину, зашагал.

Мерин двинулся следом.

– Стоп, брат, стоп! Задний ход! – остановился старик. – Тюрьму-то твою затеряем – Степка язык себе матюками искрошит. Где она?

Вернувшись на прежнее место, он разыскал треногу и повесил ее на ветку большого куста.

– Во, тут на глазах. Солнышко взойдет – мы ее с тобой наденем, твой черт мордастый и знать не будет.

Полным кругом обходили они больничную усадьбу. Обходили медленно. Мерин останавливался пощипать траву, которую, по его мнению, уже никак нельзя было миновать. Адам смотрел на текущие тучи, грозил им пальцем, чтобы не закрывали густых летних звезд. Сделав круг, они вернулись на ту же поляну. Мерин подмял под себя передние ноги, потом задние, лег, звучно екнув селезенкой. Опираясь ладонью о твердый стержень мерина хребта, опустился на траву и Адам, прилег, прислонясь к тугому боку мерина. Задремал. Проснулся от холода. Влажная трава тлела мерклым светом: выпала обильная роса.

– Спать тебе? Ну, спи, – прохрипел Адам. – Степка те завтра умучит. – Адам набил трубку, поплямкал, раскуривая, дождался, пока табак упрет, займется красным глазком, затянулся...

Небо серело. Линяли звезды. Тени становились прозрачней, крупней. Из детского отделения слышался тонкий плач.

Развиднялось по-летнему быстро.

– Пора и к солнышку, – сказал Адам. Поднялся, опираясь о задремавшего мерина, и похромал на зады усадьбы. Сразу за свалкой начиналась степь. Стайка собак неумоимо рылась в отбросах. «На месте, родимые, уже заступили!» – ласково подумал Адам, различив черные движущиеся клубки собак. Признав Адама, они обступили его, приветственно подметая хвостами.

Адам пошел в степь. Каждый день приходил он сюда, приходил слушать, как восходит солнце. Подавшись вперед на палку, устремив взор к далекому, плавающему в сизе кургану, напрягаясь всем телом, Адам слушал, как горячее красное солнышко ворочается за курганом. Стоял и высчитывал мгновение, когда блеснет из-за кургана первая золотая нить. Увидеть первый утренний луч всю жизнь было для него большой радостью.

IX

– Хозяева есть? – Дверь приоткрылась, и порог сторожки переступила грузная старуха.
– Давненько, Маруся, не была, – поднялся ей навстречу Адам.
– Жара! – обмахиваясь платком, ответила старуха. – И Танюшка приболела, вот я и вырваться не могла, да и ноги к вечеру гудят, наливаются, как колоды.

– А что с Танюшей?

– Перекупалась. Страху нет в девке – не вылезит из моря.

Старуха достала из хозяйственной сумки поллитровку «Московской», алюминиевую миску с малосольными огурцами, круглый пирог.

– Хотя и завтра твой день рождения, а я сегодня вот... – сказала гостя. – Завтра понедельник – день тяжелый, и потом не смогу я завтра прийти: Лизавете на работу. На-ка, при-
мерь! – вытащила старуха из сумки сверток и сунула его в руки Адаму.

– Спасибо, спасибо, Марья, – растроганно сказал Адам, встряхивая голубую сатиновую рубашку. Отошел в угол, чтобы надеть ее.

Новая рубашка еще отчетливее подчеркивала тонкую жилистую шею Адама, его задубелые и почерневшие большие руки.

– Твое здоровье, Алексей Степанович!

– Твое здоровье, Марья Ивановна!

Чокнулись, выпили, закусили огурчиками.

– Если дочке нельзя открыться, так хоть внучку когда-нибудь привела бы, – начал Адам. – Как Лизавета на мамашу мою похожа – вылитый портрет. Я ее когда в первый раз в трамвае встретил, испугался даже, будто бы маманя с гробу встала! Ну чистая копия!

– Не встанет, уж и косточки ее сгнили, – зло сказала Маруся. – Ох и ненавидела меня покойница. Помню, папаша твой помер. Пришла я, как и все, покойника посмотреть. А она меня увидела и со двора прогнала. Горя своего, стерва старая, не постеснялась! А, бывало, на улице меня встретит – обернется и плюнет мне вслед. Ну, уж я потом свое взяла, насладились! Сашку и Мишку ваших на гражданской убило, женить-то она их, гордячка, не успела. Ты со мною сошелся и на Север уехал насчет работы разузнать... И осталась она в доме, как перст, одна-одинешенька... Хоромы целые: и двор, и сад, – да никому не нужные. Мы с Лизкой угол у Митривны снимали, корчились, а к ней на поклон, как ты хотел, не пошли. Дудки! Чего захотела! И вот тут-то она уж как Лизку встретит, так все пальчиком, пальчиком, чтоб соседи не увидели, к себе подзывает. Известно – своя кровь. Прижмет ее к себе, крестит, плачет. Все крестит да плачет, стерва старая, змея подколотная! А я Лизку научила. Плюнула она ей в лицо и шепелявит:

– Получай за мамку!

Большая грудь старухи заходила ходуном от не угасшей с годами ненависти.

– Зря, зря, Маруся, мамашу обижаешь, – засуетился старик.

– Зря? А она меня на весь околоток славил, к Федору моему приходила, про любовь нашу с тобой рассказывала не зря? А тот меня до смерти убивал, хорошо, да? А потом, известное дело, как сынов поубило, увидела свою кровь, богомольная, с крестами да с поцелуями к девчонке лезть стала.

– Ну, ладно, ладно! Тыщу раз все слышал, – махнул рукою старик, наливая по третьей стопке.

– Давай допьем и чайку поставим. Краснодарского заварю, высший сорт, крепенького. Сразу сил прибавит.

Мария развязала косынку. В ушах ее молодым блеском заиграли тяжелые золотые серьги с пустыми почерневшими глазницами камней. Драгоценные камни из них были вынуты и

сданы в свое время в торгсин, а серьги вросли в уши – снять их оказалось невозможно. Яркий золотой блеск и солнечный свет, заполнивший комнатушку, еще сильнее подчеркивали глубокие морщины на лице Марии.

Серьги – целая страница их жизни, которую никакое время не перечеркнет. Он истратил когда-то на них деньги, которые получил от купца Ануфриева за три года работы у него кочегаром. Его мать, Кузьминишна, прочила их на покупку нового дома. Что за светопреставление творилось тогда у них в слободке! Все: и старые, и малые в слободке и даже на железнодорожной станции – только и жили что разговорами об этих сережках с бриллиантами чистой воды, которые, как королева, гордо носила Маруся, законная жена путевого обходчика, любовница кочегара Алешки Зыкова. И чего только не болтали про эти сережки тогда люди! В соседнем городе на базаре торговли толковали, что Алешка их «у великой княжне прямо с ушей выдрал...»

Дни и ночи кружил тогда он, как потерянный, вокруг Марусино дома. Ожидал, пока, напоив мужа, не выбежит она, наконец, на улицу, усталая, залапанная ненавистными, но законными объятиями. Чтоб не заприметили соседи, долго шли они по разным сторонам улицы к степи. А если, бывало, сойдутся раньше, думая, что уже никого не встретят, обязательно тут же встречали знакомого и опять разбегались по сторонам.

Лишь ночная степь укрывала их надежно от любопытных глаз. Взявшись за руки, они брели, как слепые. Шли, и следом за ними шло мирно дышащее звездами черное небо, цеплялись за ноги травы, кричали свадебные песни лягушки. Ох, как трудно было Марусе под утро возвращаться из этого благословенного мира в маленькие комнатушки, где пахло перегаром и удушающим потом нелюбимого человека.

Ему было легче. Он перелезал через забор в свой сад и тут же, на покрытой тряпьем кровати, что стояла под яблоней, засыпал. Спал, пока не начинала трясти за плечо мать, кляня полюбовницу Маньку, что, по ее словам, пила кровушку с ее первенца. Он хмуро слушал ее попреки и думал, спрашивал себя: куда девались его сыновья любовь, почитание матери? Все теперь раздражало в ней сына. Алексей старался побыстрее одеться, чтобы убежать в кочегарку: он боялся ненависти, которая просыпалась у него к родительнице.

В кочегарке можно было все бурлящие в его душе страсти отдать ненасытному огню. После Маруси больше всего он любил огонь в топке, дружил с ним. А когда кончался рабочий день, он снова шел к Марусиному дому, чтобы хоть издали взглянуть на ее белый платок, на то, как станет она подавать тарелку дымящегося борща вернувшемуся с работы Федору, глядя через голову мужа на улицу, где маячит стройная фигура лучшего парня в слободке – Алексея. И если ей не удастся сломить Федора водкой, сломит ласками, усыпит. А потом выйдет ночью раздавленная, словно переехала ее телега, сядет на скамеечке за воротами. Рядом молчаливо и горестно опустится Алексей и проведет своей легкой рукой по ее тяжелым косам.

– Иди, иди, не трогай меня, я грязная, – заливаясь слезами, говорила Маруся. Он только скрипел зубами да целовал вздрагивающие ее плечи...

– Э-хе-хе! – вздохнул Адам.

– Да, какие мы с тобой были! – угадывая его мысли, сказала старуха. – Не то что... Как посмотришь, народик нынешний – такое мелколесье...

Х

– Чего и вспоминать, – продолжала старуха, поднимая налитую стопку, – давай-ка выпьем за нашу жизнь... неудалую! – Глаза ее блестели, словно озаренные отсветом молодости. – Гляжу я на тебя и думаю: неужели это Алеха мой? И куда оно все девается – ни кожи, ни рожи. Усыхает жизнь наша, эх, усыхает, Алексей ты мой Степанович! Будем здоровы! – Прижав огромные груди к краю стола, старуха потянулась чокнуться. – Фу-ух! Проклятая! – скривилась она, осушив стопку и быстро нюхая кусок мясного пирога. – Фу-ух! Горька! А без нее тоже не сладко. Знаю, что грех, а люблю! Ты пирог бери, не для себя пекла. Или не нравится?

– Что ты, очень даже хороший пирог, царский прямо-таки пирог. Вкусно ты готовишь! – похвалил Адам.

– Чего там, – скромно возразила старуха, – на этот раз тесто неважное вышло, а вот на Май пекла, так ты бы попробовал – прямо во рту таял. Лизкин свекор заходил, угощала, так он хвалил не нахвалился, четыре куса съел. Он и не старый, и не свекор – отчим он Лизкиного мужика. Тот почти, считай, хлопчиком погиб на фронте. А с этим она который год мучится. Грех говорить, да теперь, слава богу, вдовый остался. Эх, бабье счастье! В лицо дымище-то не пускай! – отмахивая ладонью дым, вспыхнула старуха. – Ты меня и не слушаешь!

Адам, глубоко задумавшись, потягивал трубку. Глаза его, выцветшие и совершенно опустевшие, смотрели куда-то далеко-далеко – сквозь старуху, сквозь сторожку и, казалось, вообще сквозь суету сует всей этой жизни.

– А? Что ты сказала? – встрепнулся он.

– Проехало! – усмехнулась старуха. – Эх, недотепа! Всю жизнь ты такой, еще с молодости помню: уставись, как телок, в одну точку и думаешь. А чего думать? Меньше бы думал, так, небось, и сам жизнь прожил как человек, и людям дал.

– Это каким людям? – спросил Адам.

– Обыкновенным. Мне, например, – отвечала старуха. – Жизнь моя из-за тебя вся кубарем пошла.

– Я чайку поставлю, – перебил ее Адам. Он проковылял в угол, где на голубой табуретке стояла керосинка, зажег ее и поставил коричневый эмалированный чайник. – Гулю, дочку Ивана Дмитрича, давеча на кладбище видал, – желая переменить разговор, сказал Адам, прикручивая ударившую копотью керосинку.

– Это какого Дмитрича?

– Командира полка моего, ординарцем я у него в войну был. Один он, Иван Дмитрич.

– А-а... припоминаю, рассказывал. Красивая баба? – живо спросила старуха.

– Красивая... – проникновенно сказал Адам. – Я не об том, а что красивая – точно. Могилу его хорошо содержит: цветы, кусты, вроде как елки, туи, что ли... Застала меня у самой его оградки. Извините, говорит, дедушка, сколько лет вас здесь на кладбище встречаю, все спросить неудобно: к кому ходите? Или вообще? Глазища черные такие, ласковые, так и спуют – стеснительная душа... Как она спросила, так сердце во мне и захолонуло. Стою, и язык отвалился. Еле сообразил: так, говорю, к ребятам – в сторону солдатских могилок киваю, – товарищ у меня тут, Федотов, вон номер четыреста десятый. Я как раз перед этим среди могилок красноармейских ходил, рассматривал, – пояснил Адам старухе. – Дощечки им новые сделали с мрамору так: длиною – на четверть, высоты – с ладонь, золотыми буквами – фамилии, год рождения-смерти, номер могилки, звание. Все по чести написали, и то слава богу!

Адам прошел к столу, сел, подперев щеку, сделал глубокую затяжку.

– «Или вообще» – то исть нищий, значит, – проговорил Адам, выпустив к полу светлую дымовую дорожку. – Уковылял я быстрее от греха.

– А где она живет-то? – прикрывая ладонью смачный зевок, спросила старуха. – Эко разморило... Скорей бы чаек вскипел!

– На вашей стороне, у порта, да я не об этом... Душа у меня, Марья, вся переворачивается. Другой раз встречу ее – ей-богу, не выдержу, откроюсь! Ей-богу, откроюсь! Эх, Марья! – легонько, но яростно стукнул Адам кулаком по столу, на глаза его выступили слезы. – Откроюсь, не могу терпеть больше. Пускай жизни лишают! Как он меня любил, Иван Дмитрич, какое сердце имел человек! Во всю жизнь такого человека, как он да Афанасий Иванович, больше я почти и не видел. Из-за него я сюда и пробирался, в этот город. Об семье он мне много рассказывал, адрес я всегда помнил: Краснофлотская улица. К нему сюда я и бежал через все леса, реки, горы потому, чтобы защитил он меня, опознал, что я есть из себя, подтвердил бы чтобы, какой я такой человек, душой всей русской земле отданный. Почти три года мы с ним с боя в бой шли. Расстались, как я тебе рассказывал... Приехал сюда в город днем, часа в четыре. Помню, тепло было, летом... От Ростова по тамбурам так и доехал. Поднялся с вокзала по лестнице этой каменной, перешел площадь, за угол выхожу – навстречу гроб несут, оркестр играет военный, подушечки впереди с наградами...

Адам выбил трубку на черствую свою ладонь, бесчувственно растер комочек уголька, приподнялся, выкинул пепел в окошко.

– Заварка-то у тебя где? Уже вона прыгает чайник. – Тяжело встав, старуха направилась к полке, приколоченной к стене и завешенной чистой марлей. – Ага, нашла! А чайника заварного так и не купил? Прямо в тот сыпать?

– Сыпь, – отвечал Адам. – Так вот... Подушечки впереди с наградами... Притулился я к стеночке, жду покойника в лицо глянуть... Поднесли – он. Не дождался меня Иван Дмитрич, дня какого-то не дождался. В голове у меня все кругом пошло, смешался я с толпой и потемнел незрячий следом за гробом вместе со всеми на кладбище. Мать его я сразу отличил и дочку Гуленьку. На кладбище речь говорил майор какой-то, чернявый, верткий такой: мол, гвардии полковник Ермаков Иван Дмитрич умер от ран, полученных в Ведикую Отечественную войну... и так далее... Крышку забили, засыпали, и я комок бросил... Салют тройной отдали. Вот так и захлопнулось мое спасение. Весь наш полк в том бою погиб. Он один, может, и был, что до дому добрался помереть, да таких, как я, горемык, с сотню набрали фрицы, полумертвых, бессознательных. Поплакал я у него на могилке: осиротил ты меня, Дмитрич, обрезал всю надежду! Да не возвращаться же назад! Вот так и осел здесь, так и доживаю, из жизни выкинутый, как слепой кутенок посреди реки из лодки.

– Ну и слабый же ты стал, Степаныч! – расставляя чайные чашки, проговорила старуха сожалеюще-усмешливо. – Эко тебя с поллитры на двоих повело, в слезы вдарило!

– Глупая ты дура, Марья! – смахивая с обвислых щек слезы тылом ладони, сказал Адам. – Водка тут ни при чем. Жизнь мою понимать надо, понимать надо жизнь! А я ее, Гулю, в другой раз встречу – открою ей всю свою тайну, про отца все расскажу, про то, как мы с ним на войне мыкались!

– Эту глупость ты и думать забудь! – сурово и гневно сказала старуха. – Ты не один, нас бы здесь не было – бог с тобой, хоть не то что этой девке, а куда хочешь беги... – Старуха в волнении пролила чай мимо чашки. – Ты мне сейчас же слово дай, что не будешь глупости вытворять. Ты думаешь-то об чем? Ты уж молчи да дышь, Адам Степанович! – саркастически закончила старуха и плюхнулась всей тяжестью на заскрипевшую табуретку.

– Ладно, – вздохнул Адам, подвигая свою чашку густого, каштанового с золотом чая, – про вас я и правда не подумал. Эх, Марья, и как нас с тобою бог снова свел – уму человеческому непонятно! Сказано – судьба!

– Что толку-то с этого – одни хлопоты! – громко прихлебывая чай из блюда, сказала старуха. – Горе мне с тобой, непутевым! Из-за тебя страх терплю. Другая так и на дух к тебе

не показывалась бы. Эх, жизнь наша переходящая! Или еще на четвертинку скинемся? – Старуха запустила руку за пазуху.

XI

Каждый год 17 августа, в день рождения, Адам дарил себе новые сапоги. Беда была ему с этими сапогами: как и на всех одноногих, обувь так и горела на нем. Оглянуться, бывало, не успеет, а уже новые сапоги надо покупать. В иной год по две пары снашивал.

Утром, по своему всегдашнему обычаю, он отправился в город за покупкой. По случаю понедельника все магазины были закрыты, и только в рыбацьем поселке он нашел, наконец, то, что искал. Расплатившись с проворным черноглазым и курчавым продавцом, он вышел из прохладной полутьмы магазина на залитую ослепительным светом улицу.

Остро и пряно пахло морем, камнями, посветлевшими от зноя, зелеными лентами водорослей, теплой гнилью тарашек, выброшенных ночным приливом, соленой свежестью воды. Неподалеку, на бондарном заводе, визжала лесопилка, и запах моря смешивался с терпким запахом сосновой смолы. И это дивное сочетание двух великих земных стихий – моря и леса – делало мир еще необъятней и сладостней.

– Э-хе-хе! – полной грудью вдохнул Адам резкую, пьянящую смесь воздуха. В носу у него зашекотало, и на глаза навернулись слезы от беспричинной радости существования, которую ощутил он в этот миг.

– Вот и еще год... Шестьдесят пять, а будто и не жил на свете! – растерянно пробормотал Адам, остановившись и глядя в море. Море цело. И от этого цветения было разделено все изломанными линиями на зеленые, голубые, стальные и лиловые острова. «Илья-пророк уж постарался... в воду, всю испоганил», – усмешливо подумал Адам. Влажный ветер так приятно обдувал потную голову, что уходить ему не хотелось. Пристально и проникновенно, как всматриваются в лицо бывшего в разлуке человека, глядел Адам в море.

– Пливет, дет! – звонко раздалось у самых ног.

Перед ним стоял голый, коричневый от грязи и от загара трехлетний карапуз.

– Сапаи плодаес? – спросил карапуз, смешно выворачивая мокрые губы.

Пара новеньких сапог, перекинутых через плечо Адама, поблескивала на солнце зернистой кирзой.

– Сапоги? Сапоги-то? О-хо-хо! – ликующе рассмеялся Адам. – На что они тебе, голому? Не продаю – токо купил вон у вас, в ларьке.

– Засем тебе два? Нога ана – засем два сапаа? – спросил мальчишка.

Адам хотел было ответить, но тут мальчишка закричал:

– Смотри! Паласуты! Ула! – и, забыв об Адаме, пустился бежать к берегу моря.

Адам поднял глаза к небу: четыре белых купола парашютов повисли над морем, раскачивая на невидимых стропах куколки человеческих фигур.

Высоко в небе разворачивался для нового захода аэроклубовский самолет, а к месту приводнения первого парашютиста уже устремился маленький катер. Поглядев, как катер подбрал всех четырех, Адам пошел домой.

«Дотошный какой! – вспомнил он мальчишку, подходя к воротам больницы. – „Зачем тебе два сапога?“»

Настоянный на лекарствах воздух за больничной оградой показался ему сейчас особенно душным и приторным, саднил в горле. И Адам удивился, как это раньше не замечал он больничного воздуха. «Принюхался! К чему не привыкнет, к чему не притерпится человек!» – с грустной усмешкой подумал Адам.

Войдя в сторожку, он разорвал тесемку, связывавшую сапоги. Дружелюбно похлопал по размякшим от зноя, словно вареным, голенищам. Хотел примерить обновку, но передумал. Решил прежде приготовить на стол. Тщательно вытерев влажной тряпкой доски стола, Адам достал с полки две мелкие тарелки и одну глубокую, из тумбочки вынул кусок нежно-розового

сала в четыре пальца, помидоры, соль, черный перец, полбутылки заигравшего янтарем подсолнечного масла, головку чеснока, полбуханки черного пшеничного хлеба.

Тонким истершимся лезвием столового ножа он ловко нарезал красные, налитые соком помидоры в глубокую тарелку. Очистил несколько долек чеснока и покрошил мелко. Чесночную крошку высыпал в помидоры, посолил, поперчил, перемешал все, обильно полил постным маслом. В одной из мелких тарелок аппетитно улеглись розоватые ломтики сала, в другую он нарезал хлеб. Ловко и с удовольствием готовил себе еду Адам. «Чего это Николай Артемович не идет?…» – подумал Адам, доставая из-под топчана поллитровку водки, еще с вечера обернутую в смоченную уксусом тряпку. Это ухищрение помогло – водка была достаточно холодной.

Одним ударом выбил Адам пробку, порадовался – есть еще в руках сила. Налил граненый стаканчик. «Наверное, не придет», – подумал он, глядя в окошко.

Помедлив, чокнулся с бутылкой:

– Будь здоров, Алексей Степанович!

Выпив, крякнув от удовольствия: редко когда в жару первая стопка пойдет, как эта, – «соколом»! Сало таяло во рту, острые помидоры были хорошей закуской. Выпил еще рюмочку. Стало совсем хорошо и жарко.

Примерил сапоги – правый на ногу, левый натянул на култышку.

*«Наверх вы, товарищи,
Все по местам!
Последний парад наступает!» —*

сипло запел Адам, пытаясь пройти по сторожке.

*«Хорошо тому живется,
У кого одна нога:
И штанина не порвется,
И не надо сапога!»*

Адам вздрогнул и оступился. Это горланил под окошком Митька Кролик, притопывая в такт песне босыми пятками по твердой серой тропинке, которая вела в подвал мертвецкой. За Митькиной спиной хохотали и визжали все остальные мальчишки.

– Кшить, остропузые! Поуничтожу! – грозно крикнул смущенный Адам в выбитую шибку, заменявшую ему форточку.

*«Хорошо тому живется,
Кого мама родила,
А меня родил папаша:
Мама в отпуске была!» —*

звонко продолжал свою песню Митька.

Адам хотел прикрикнуть еще грозней, но губы его растянулись в невольной улыбке, только погрозил коричневым прокуренным пальцем. Так же неожиданно, как и появились, пацаны снялись, как воробы, и полетели куда-то по новым своим делам.

XII

Так никого и не дождавшись, Адам закончил свой праздник наедине с бутылкой. Полетному маленькое и яростное солнце уже далеко сползло с зенита и сейчас стояло на верхушке угольно-черной трубы больничной кочегарки. Лучи солнца падали на кровать. Там было не уснуть, и Адаму пришлось побрызгать пол, подмести и лечь в углу, куда солнце не доставало. Адам постелил бушлат, с которым ходил на дежурство, и лег.

Спал он без сновидений и проснулся, как обычно, вечером, на грани ночи. С похмелья ломило голову и во рту был металлический вкус. Пристегивая ногу, он долго не мог попасть штырьком пряжки в дырочку на ремне.

– Эх, ты-ы! Эх, старикашечка! – бормотал Адам, досадуя на непослушные пальцы. – Скоро уже и вовсе порохня будет сыпаться! – заключил он, подымаясь. Отряхнув бушлат, он перекинул его на плечо, взял палку и легонько толкнул дверь. Шумно скрежеща петлями, дверь распахнулась. Горячий плотный ветер хлынул на Адама, дробно и радостно затрепетали стекла в окошке. Адам с трудом прикрыл дверь. Ветер короткими сильными порывами пригибал кусты и ветви деревьев, крутил пыль и обрывки газет. Небо было черное и твердое, словно небосвод был не из воздуха, а из черного толстого стекла. Время от времени на нем появлялись мгновенные светлые пятна – это били молнии, так далеко и высоко, что их свет не пробивал толщу и грома не было слышно. Дождя в это лето почти не выпадало, поля были плохие, а в городе было пыльно и так мучительно, что даже ночная прохлада не успевала снимать этой духоты и всеобщего томления.

Тревога, смутное предчувствие чего-то неизвестного, но страшного именно этой своей неизвестностью и неизбежностью с каждым шагом все больше заполняли душу Адама сосущей тоскою и глухой болью.

– Господи, что же это! – прошептал Адам, пытаясь отогнать дурные предчувствия.

Он хотел было уже свернуть в боковую темную аллею, как его окликнули.

– Степаныч!

На ступеньках главного корпуса в тускло-желтом свете лампочки стоял профессор хирургии Николай Артемович Никогосов, тот самый, которого Адам ждал сегодня к себе на праздник. Его чесучовый пиджак раздувался от ветра; казалось, что его прямая сухощавая фигура ждет лишь удачного порыва, чтобы сейчас же взлететь и исчезнуть в черном небе.

– Ловится? – спросил профессор, когда Адам подошел к нему ближе.

– Вода цветет – откуда ей сейчас ловиться.

– Но в воскресенье все равно пойдем, соскучился я без рыбалки. Когда это мы с тобой в последний раз были?

– Давно, еще в начале месяца, – отвечал Адам.

– Так ты червячков подкопай, – сказал Николай Артемович, проведя ладонью по серебристому ежику волос.

– Подкопаю. Ждал я вас, обещали, – тихо добавил Адам.

– Что обещал? – дипломатично спросил профессор.

– Прийти обещали. Рождение у меня сегодня. Забыли...

– Я забыл? Да что ты, Степаныч! Такое я не мог забыть! Задержался я, понимаешь. Работы сегодня пропасть. Сейчас как раз к тебе направлялся.

Адам понимал, что профессор, конечно, забыл о его дне рождения и сейчас говорит неправду, но все равно слушать его ему было приятно.

– Так сколько стукнуло?

– Шестьдесят пять, – смущенно сказал Адам.

– Ого! Знаешь, пойдем ко мне, – подмигнул профессор, – пойдем отметим немножко!

Пойдем! Пойдем! Ветер с ног валит. Какое там к черту дежурство! – Сильной рукой он взял Адама за локоть и потащил его вверх по ступенькам.

В вестибюле, у тумбочки с телефоном, сидела пожилая, толстая, судя по лицу, когда-то красивая нянька. На коленях она держала глубокую тарелку, полную манной каши, и ела ее с такой жадностью, что Николай Артемович, усмехнувшись, громко сказал:

– Приятного аппетита!

Нянька обалдело вскочила на ноги и застыла, прижав тарелку обеими руками к мягкому своему животу так сильно, что он, казалось, разделился надвое.

– На ночь кушать вредно! – отчеканивая каждое слово, сурово сказал профессор и, неожиданно расплывшись в шутовской улыбке, елейным голосом добавил: – Помрешь скорее, лебедь моя!

Нянька захихикала, услужливо и фальшиво.

По лестнице с обкатанными, округленными от времени краями ступенек они поднялись на второй этаж. В длинном коридоре было тихо. Пальмы в кадках охраняли эту болезненно-чуткую, настороженную тишину, полную страданий, притаившихся за белыми дверьми палат.

ХІІІ

Николай Артемович открыл ключом высокую белую дверь, на которой висела маленькая черная табличка «Зав. кафедрой», и, учтиво пропустив вперед себя Адама, вошел с ним в свой кабинет. Это была большая, идеально чистая комната с высоким потолком и белыми застекленными шкафами вдоль стен.

– Присаживайся! – тоном радушного хозяина сказал Николай Артемович.

Они уселись друг против друга. Николай Артемович сдвинул к одной стороне стола аккуратно сложенные стопки специальных книг и брошюр и поставил на освободившееся место причудливой формы бутылку и рюмки.

– Ром! – сказал он радостно. – Настоящий, ямайский! Приятель из командировки привез. Ты и не пивал еще такого!

– Откуда нам такое пивать...

– Так за твое рождение! – сказал профессор, высоко поднимая рюмку. – Будь здоров!

– Большое спасибо вам! – поблагодарил Адам и вслед за профессором выпил пряный и показавшийся ему очень невкусным ром.

– А закусить нечем – не обессудь, – сказал Николай Артемович, – придется рукавом, как старым пьянчугам.

Сидели молча, каждый думал о своем. Николай Артемович думал о своей большой богатой квартире, совершенно опустевшей после смерти жены. Вспоминал о том, как умирала его жена и как в последние дни перед смертью не хотела его видеть. Всегда подчинялась, а перед смертью восстала. Он – в палату, а она отвернется к стене и просит: «Уйди, уйди, пожалуйста!» Так и умерла не простившись.

Николаю Артемовичу было тяжело и как-то зябко, может быть, оттого, что он привык к любви своей жены, привык к тому, что она боролась за него с другими, дорожила им, унижалась перед ним, ревновала и дипломатично скрывала свою ревность – одним словом, создавала ему постоянное впечатление того, что он очень ценен. «И Лиза что-то не та стала...» – неприятно и в первый раз неуверенно подумал он о Лизе.

– Ну что, по третьей? – сказал он, поглядев мимо Адама, и, не слушая, что тот ответил, налил рюмки.

Ветер на дворе заметно стих, и было видно в раскрытое окно, как очищалось небо и проступали скрытые прежде тучами звезды.

После третьей рюмки синие глаза Николая Артемовича потеплели. «Лиза образумится, образумится. Все будет так, как я хочу! – уже с обычной своей уверенностью и жесткостью подумал он о Лизе. – Женюсь на ней – она заслужила это, право, вполне заслужила!»

– Она заслужила, вполне заслужила, – довольный своим добрым решением, вслух сказал Николай Артемович.

– Что вы сказали? – спросил Адам.

– А? Ничего, ничего, это я так. Неужели вслух сказал?

– Вслух, – подтвердил Адам.

– Старею, – усмехнулся Николай Артемович, показывая крепкие белые зубы, – старею... А ты-то чего не женишься? – вдруг спросил Николай Артемович Адама, чуть прищурившись, отчужденно глядя ему в лицо.

– Я?! – Адам настолько оторопел от этого вопроса, что даже и не знал, что ответить, но, точно почувствовав, уловив ход мыслей профессора, сказал то, что Николаю Артемовичу было приятно, потому что совпадало с его решением.

– Живое о живом, – сказал Адам, – живое о живом должно думать, а я что...

– А ты что? Помер, что ли? Живой труп, что ли? – резко перебил его профессор. – Тебе сейчас самый раз бабку найти! Вон хоть та, что внизу стоит нянька, чем плохая? – Голос Николая Артемовича становился все веселее. – Хочешь – мигом сосватаю! А там, на тебя глядя, и я, может быть... А?

Совсем развеселившись, Николай Артемович налил еще. Адам молча улыбался, ему было и неловко за себя, и радостно за Николая Артемовича. «Вот он и отмяк уже, а то ходил черный весь после того, как жена умерла, а теперь отошел. Жениться, ей-богу, жениться надумал. Ну и хорошо! Живое – о живом. Парень он крепкий», – как о сыне, подумал Адам о своем покровителе.

– Это ему об этом не надо думать! – вдруг указав поднятой рюмкой на скелет высокого мужчины, стоявший в стеклянном шкафу, сказал Николай Артемович, дружески подмигнув Адаму. – Ровесник твой, между прочим. Ну, за твой день рождения! За твоё здоровье!

Адаму стало не по себе от этого жеста профессора. Он еще раз взглянул на скелет в шкафу, который прежде не замечал, и снова предчувствие чего-то дурного и неизбежного взяло его за горло, стеснило грудь. Четвертую рюмку он выпил с трудом, против своего желания.

Неожиданно резко зазвонил телефон. Профессор снял трубку.

– Слушаю. Я... Конечно. Для тебя всегда свободен. Да. Жду. Встретить? Ты здесь? Хорошо. – Николай Артемович положил трубку. – Не придется нам с тобой посидеть: сейчас ко мне один человек придет, не обессудь. – Он встал и своей легкой юношеской походкой прошелся по кабинету. – Ты червей подкопай. В воскресенье обязательно пойдем на рыбалку, обязательно. Ну, а сейчас иди, не обессудь – занят буду.

В дверь стукнули, и порог кабинета переступила высокая молодая женщина. Сердце Адама тяжело ухнуло: «Лиза? Может, с внучкой что?» Поймав на себе недоуменный взгляд ее черных блестящих глаз, Адам почувствовал, что тревога его о внучке напрасна, что другая забота привела в этот кабинет его дочь. Громко стуча колодежкой, забыв попрощаться, Адам вышел, спустился на больничное крыльцо.

Вот и снова он увиделся с дочерью, с дочерью, которая не подозревала о том, что он ее отец, для которой он был чужой и нелепый больничный сторож.

XIV

Ровно год тому назад он встретил их. Год тому назад, в одно воскресное утро августа, Адам ехал в трамвае. На остановке у базара вошло много пассажиров и среди них молодая чернобровая женщина с тяжелой прической туго заплетенных русых кос. Адам встрепенулся. Вот женщина, пройдя по трамваю, поравнялась с ним, остановилась. «Господи, маманя, чистая маманя!» – подумал Адам, всматриваясь в лицо женщины. Ровный, чуточку вздернутый нос, резко очерченный яркий рот и большие, в черном венчике ресниц, лучистые глаза – родное лицо, такое родное лицо... Предчувствие радости или беды крепко взяло его за горло, пропал куда-то воздух. Еще не зная, что скажет, что сделает, хватаясь за ремни, он встал со скамьи.

– Лиза! Лиза! Дочка! Доч-чень-ка! – прошептал он, покачнувшись и тяжело сел, согнувшись от непривычной резкой боли в груди.

– Вам плохо, бабушка?

Высокая, стройная, она участливо наклонилась к нему, и совсем близко Адам увидел родные материнские глаза. Они были широко открыты, а потом сощурились, улыбаясь точно так, как это делала его мать. «Лиза. Дочка!»

– Табак, табак в горло попал, – все еще перекошенный от боли, просипел Адам, отворачиваясь от дочери, делая вид, что он закашлялся. «Бабушка! Не узнала... не узнала... Бабушка!»

– Лиза, вон место освободилось, – услышал он позабытый голос. Лиза, улыбнувшись ему, прошла вперед и там села на скамью. И в ту же минуту Адам увидел знакомые золотые сережки в сморщенных желтых ушах, увидел изрезанное морщинами лицо и безразличный взгляд вылинявших старческих глаз, скользнувший по нему. Старуха тут же нагнулась, заботливо поправила плетеную корзинку, полную помидоров, фруктов и яиц.

«Не узнала! Не узнала меня и Маруся... Боже мой, Маруся – вот эта старуха! Маруся? Моя Маруся...»

– Мам, сейчас вставать, – услышал он голос Лизы.

Боль в груди не отпускала, но Адам поспешил выйти за ними и, подождав, пока жена и дочь отойдут подальше, заковылял следом. «Не узнали! А если бы и узнали, что бы ты им сказал? Что бы ты делал? Спасибо, что не узнали». Сейчас он хотел одного: увидеть, где они живут.

Они жили в маленьком доме окнами на улицу. Когда Маруся и Лиза вошли в дом, Адам быстро прошел вперед. Ему казалось, что сейчас выбежит Маруся и опознает его. Сейчас же выбежит и опознает! «Эх, войти бы следом за ними в дом, в свой дом! Прижать Лизу к груди, Марусю! А там будь что будет! Нет, нельзя. Ради Лизы нельзя. Сперва нужно встретить Марусю, открыться ей одной, а там – как она скажет... Ей виднее», – твердо решил Адам. И, перейдя на другую сторону улицы, он сел поодаль на скамейку. Он смотрел на дом, на дверь, в которую вошли Лиза и Маруся, и впервые за много лет убивающее чувство одиночества вдруг исчезло, растаяло, ушло, унося с собой тяжелые камни, которыми была завалена его душа. Семья! Не один он на свете – у него есть семья, родные люди, дочь, жена. Ничего, что путь к ним ему заказан. Они есть – это главное. Они есть, они живы и здоровы. Каждую минуту он может перейти дорогу и постучать в дверь!

Так и просидел Адам целый день на скамейке, просидел до самого вечера. И на другой день он пришел к этой скамейке, и на третий. Жизнь снова обрела для него смысл и значение. По утрам он видел издали, как выходила из дому Лиза и шла на работу. Ее часто провожала девочка – Лизина дочка, его родная внучка. Как он любил ее, хотя и не сказал с ней еще ни одного слова! Девочка была непохожа лицом ни на Лизу, ни на Марусю, ни на него. «Значит, в пору своего отца пошла. А мужа у Лизы нет, видно, разошлись», – думал Адам и любил и жалел ее и внучку еще сильнее.

Маруся из дому выходила редко. «Стара уже стала мать», – думал Адам и давал себе слово, что в следующий раз обязательно «перевстренит ее и во всем откроется».

Как-то, проводив Лизу издали на работу, он решился пройти мимо их дома: «Хоть в окно загляну!» Заглянул – и не смог отойти. Окно было открыто, и в уютной, родной комнате с его большим портретом на стене возле стола стояла Маруся и лепила вареники. Под его пристальным взглядом она повернулась и встретилась с ним глазами. Долго они смотрели в глаза друг другу.

– Леша! – слабо вскрикнула Маруся, покачнувшись и села на пол, провела руками по глазам, руками, которые были в муке. – Алексей! – закричала она. – Алексей! – Вскочила на ноги и через минуту уже повисла у него на шее.

Улица была пуста. Вход в их квартиру был с парадного, и никто не видел встречи. Долго они сидели рядышком на диване, а когда Маруся выплакалась, Алексей рассказал ей все о себе, ничего не утаивая.

Сокрушенно вздыхая, Маруся решила:

– Не судьба нам, Алешенька, не судьба. Живи один, я навещать буду. А Лизку не тронь. Хватит, она со своим мужиком настрадалась, недавно только таскать перестали. Не надо мутить ей душу, а, Алеша? Не надо.

На том и порешили.

XV

Выходя из кабинета, Адам слышал, как она назвала профессора просто по имени: «Николай!» Значит, хорошо знала его.

Адам стоял и смотрел в освещенное окно кабинета. Туда на свет летели бабочки, и он поймал себя на нелепой мысли: ему захотелось стать крохотной легкой бабочкой.

По дорожке мимо Адама пробежала медсестра. Узнав его, она остановилась:

– Вы не видали, Николай Артемович не уходил?

– Он у себя в кабинете, – ответил ей с непонятным самому злорадством Адам.

Скоро на крыльцо вышли Николай Артемович и Лиза.

– Ты не уходи, пожалуйста, не уходи, – громко говорил Николай Артемович. – Не хотела подождать в кабинете – посиди на скамейке, вот тут. Я сейчас! Я ведь одну минутку.

Профессор ушел в соседний корпус. Лиза села на скамейку в кустах. Адам смотрел на нее и думал: «Сама судьба оставила нас один на один. Не хочет Маруся – так я сам ей все расскажу!» Задыхаясь, он стал кружить возле скамьи, где сидела Лиза. Круги его все уменьшались и уменьшались. Он уже намеревался выйти из-за последнего куста на свет, как в эту самую минуту промчался между деревьями Николай Артемович. Адам пошатнулся и вытер ладонью обильно струившийся по его лицу пот.

– Вот и я, а ты хотела уходить! Пойдем!

– Уже поздно. Я не хочу идти к тебе в кабинет, и так... уже и дежурный врач заглядывала, и сестры. Я не хочу разжигать их любопытство.

– Глупости! Я теперь вольная птица. И потом мне до них дела нет. Вот уж никогда не забочусь, что скажет княгиня Марья Алексевна.

– Давно ли... Что ж, у каждого свой потолок, – вздохнула Лиза. – Пойдемте, а то скоро автобусы перестанут ходить. Мне-то домой через весь город добираться.

– Куда ты спешишь? Мы ведь с тобой целую вечность не виделись.

– Проводите, вот и поговорим. Я ведь, в сущности, по делу. Когда я уйду, прочтите вот эту тетрадку. Не смейся, ничего тут смешного нет. Почему ты улыбаешься?

– Ну давай тетрадь! О чем здесь? Сейчас мне прикажешь читать или позволишь позже? Лучше бы пересказала, а? В популярной форме.

– Зачем же эта издевка? Я еще подумую, стоит ли вам ее оставлять.

– Лиза! Не надо ссориться, а, Лиза! Я так соскучился по тебе, так рад нашей встрече. Вчера я два раза у тебя был, даже Марии Ивановны не побоялся. Ты же знаешь, как мне неприятно ее видеть, но я превозмог себя. Ждал тебя, ждал – и все зря.

– Эх ты, смиренный волк! – рассмеялась Лиза, и ее тихий женский ласкающий смех больно уколол Адама. – Вечер свежий, а у меня недавно была ангина, проводи меня, пожалуйста, к автобусу.

– Не понимаю, зачем, к чему тебе спешить домой, когда домашние знают, что ты дежуришь в больнице?

– Но обстоятельства переменялись: видишь, я уже не дежурю.

– Тем более, Лизонька! Это счастливый случай!

– Случай! Что ж, ты прав – слепой случай! Хорошо, пусть будет еще раз по-твоему. Но я озябла.

– Одну минуточку, – оживился Николай Артемович, – я сейчас разыщу своего друга Степаныча. Он дежурит, а мы посидим в его сторожке, у старика чисто. Никому не придет в голову меня там искать. Это удивительный старик, я тебя с ним как-нибудь обязательно познакомлю.

– Неудобно идти к нему.

– Все удобно. Подожди, я сейчас его разыщу, возьму ключ. Он где-нибудь тут, за хирургией, со своим другом-мерином возится.

Адам видел, как Николай Артемович зашагал на его розыски. Обойдя корпус хирургии с противоположной стороны, он поспешил навстречу профессору. Ему тоже очень не хотелось, чтобы Лиза ушла. Только бы побыть с нею рядом, пусть невидимому, пусть неузнанному, просто насмотреться на нее.

Из-за угла здания показалась легкая, стремительная фигура Николая Артемовича.

– Дружище! – еще издали крикнул профессор. – А я тебя ищу! Если разрешишь, я в твоей сторожке отдохну. Дай, пожалуйста, ключ! Я не один, понимаешь...

– Да-да! – заспешил Адам, перебивая профессора, боясь услышать от него что-нибудь мужское, дурное, откровенное. – На, возьми. Иди, не бойся, там у меня чисто. Свет зажжешь – окно прикрой, чтоб комары не налетели.

XVI

В эту ночь Адам впервые за годы службы не нес караула, не обходил дозором большой, заросший деревьями и кустами больничный двор. Он не мог глаз оторвать от окна своей привычной, будничной сторожки, ставшей сейчас заколдованным чертогом, куда вход ему, хозяину, был запрещен. Он сидел и смотрел в этот маленький светящийся квадрат, как будто бы он был итогом всей его жизни. Там, за окном, в его комнате, хозяйкой и гостьей была его дочь.

Вдруг в сторожке погас свет, сторожка пропала, будто бы ее и вовсе не было в мире. Ковыляя, Адам сделал к ней несколько шагов и услышал, как щелкнул ключ. Он махнул рукой и опустился на траву. Адаму вдруг показалось, что он умер и никому, никому до него нет дела. Слезы хлынули из его глаз. Он плакал, как мальчишка: всхлипывал, сморкался, вытирал мокрой уже рубашкой мокрое лицо и опять плакал, сморкался и всхлипывал. Последний раз вот так же неудержимо плакал он семилетним мальчишкой, когда отец зарезал их корову Красулю. Ее задрал волк и нельзя уже было спасти. Вся семья обедалась мясом, так как в деревне его некому было продать, а везти в город далеко, да и время летнее было – не довезешь. Вот и справляла семья неожиданный горький праздник, варя и даря с утра до вечера. Только он один не мог есть Красулино мясо, ведь он пас ее, играл с ней. Говядина казалась ему человечинной. Он убегал в степь, на курган, ложился там в густую лебеду, осыпавшую его серебряной пылью, и плакал. Слез было море, и он бездумно тонул в них.

Кромешная темнота поглотила мир. Все уснуло, и только Адам бодрствовал. Он вздыхал, вытирал слезы:

– Ведь не девка же – баба, эка невидаль! Чего реवेशь, дуралей! – шептал Адам. Но, видно, это утешение было для него неубедительным. Слезы лились сами по себе. О чем он плакал? О дочери, о своей девочке, которая непорочная, чистая, жила все эти годы в его старом сердце. Только не о женщине, почивавшей у него с чужим, малопонятным человеком, которого все в шутку или всерьез называли его другом.

– Друг... Какой он мне друг?...

Они познакомились пять лет назад. До этого Николай Артемович проходил мимо него, как мимо дерева. А пять лет тому назад встретились случайно на рыбалке. Чуть ли не от самого пляжа и далеко за город все побережье было занято рыбаками. Запоздавший Николай Артемович еле нашел место втиснуться. Втиснулся он между Адамом, сидевшим на ящике из тонких дощечек, и худым загорелым мальчишкой. Старик поздоровался с ним, и профессор узнал в нем больничного сторожа. В тот день здорово ловилась тарашка. На радостях Николай Артемович разговорился с Адамом. Вместе они ушли с рыбалки, довольные удачей.

С того дня Николай Артемович проникся к нему интересом. До осени они каждое воскресенье рыбачили вместе. Адам копал червей на двоих, отливал для Николая Артемовича грузила, научил его ловить кефаль на якорьки подсечкой, научил вялить тарашку так, чтобы она была особенно вкусной, – словом, сделал из него завятого рыболова. С годами Николай Артемович привязался к нему и на глазах больничных работников всякий раз старался подчеркнуть свое дружеское расположение. О многом говорили они в долгие часы рыбалок. Адам вел себя с профессором независимо, не льстил ему и не угодничал перед ним. Это последнее качество Николай Артемович особенно в нем ценил.

Все было глухо и немо, и даже мерин забыл об Адаме. Нерадостный свет забрезжил над миром. И в этом сером туманном рассвете Адам увидел, как приоткрылась дверь его сторожки, как вышла из нее Лиза, как оглядела пустынный двор, как поправила волосы и, поеживаясь от утренней свежести, свернула на узенькую аллею у мертвецкой, что вела к больничным воротам. Вот белое платье последний раз мелькнуло между кустами... Глубоко вздохнув, словно

освободившись от цепи, которой он был прикован к земле, Адам встал на ноги и побрел через гущу, казалось, непроходимых кустов боярышника, раздвигая их руками.

XVII

Под кустом боярышника, прижав колени к подбородку, сладко спал Митька Кролик. Охапка полувysохшей травы, которую он притащил сюда из валков, что накопил к зиме мерину возчик Степа, была ему хорошей постелью. Митьке снилось, будто сиреневый тигр убегает от него с синим шарфом в зубах, а он гонится за ним и никак не может догнать. Сон был цветной и такой отчетливый, что Митька видел красный бант, почему-то завязанный на полосатом хвосте тигра, и его лукавые черные глаза. Совсем Гулины глаза были у этого тигра.

Опустошенный, разбитый, брел Адам сквозь кусты, высоко, как слепец, подняв голову, плохо различая окружающее. Холодные, скользкие ветки хлестали его по лицу, цеплялись за одежду, руки его были исцарапаны и саднили, и он находил непонятную сладость в этой физической боли, в этой малой боли, глушившей неизмеримо большую боль души. Первый раз за долгие годы он был безучастен к утренней красоте просыпающейся земли, к прозябанию трав, выпрямляющихся от росной тяжести, к светлеющему востоку и даже к мерину, к своему любимому мерину, которого он сегодня не потрудился освободить от пут.

Адам споткнулся о край Митькиной постели и едва не упал на него, но успел вовремя ухватиться рукою за колючий куст. Некоторое время старик стоял в замешательстве, разглядывая спящего и соображая, как он мог здесь очутиться. Потом, сняв с себя бушлат, бережно укрыл мальчишку. И сам опустился на Митькину постель, сел у его ног и принялся набивать спасительную трубку.

Тяжело бухая скованными передними ногами, на поляне показался мерин. Обиженно отведя морду, он остановился шагах в семи от Адама. Адам не глядел в его сторону, но чувствовал, как застенчивый мерин ждет его внимания. Старик нехотя обернулся. Что-то родное, общее с ним было в опущенной морде мерина, во вздрагивающей судорогами лопатке его костистого нескладного тела, что-то сиротское и безысходное было в мерине, что-то именно такое, что полностью властвовало и запечатлелось в душе Адама.

Глядя на мерина, Адам с яростью подумал о том, что Степка-возчик – болван и что по справедливости не ему должен бы был принадлежать мерин, а ему, Адаму, и тогда все было бы хорошо, все было бы не так, как сейчас. А по какой такой справедливости мерин должен бы быть его и как это все было бы не так, Адам не мог выразить мыслью, и ему от этого неумения стало еще жальче мерина, и себя, и всю свою нескладную жизнь, и все-все, что было и что по справедливости должно быть по-иному. И он хрипло сказал:

– Иди уж, чертушко!

Мерин не заставил себя ждать. Сдержанно перебирая ногами, насколько позволяла тренога, он подошел к Адаму и, как человек, заглянул ему в лицо настороженными глазами, мягко ткнул его черными губами в плечо, будто целуя.

– Ладно! Ладно уж, расквасился, – угрюмо просипел Адам, готовый вновь разрыдаться от этой мериновой ласки. – Давай лучше ноги распутаю! – Он разомкнул треногу и, чуть понянчив в ладонях ее холодную металлическую тяжесть, неожиданно широко размахнулся и закинул ее далеко в кусты.

– Вот так-то! – твердым и сильным голосом сказал Адам и запустил пальцы левой руки в жесткую спутанную гриву освобожденного мерина.

XVIII

Вечером этого дня Митька Кролик сбежал из дому, потому что очень обиделся на свою мачеху Гулю. Гуля заняла место его мамы три года тому назад. Три года – очень большой срок в такой короткой жизни, как Митькина, но все, что было три года назад, он помнил до сих пор очень отчетливо...

Первый год они с отцом жили по-холостяцки, только приходила Гуля. Но Гуля приходила и тогда, когда была мама. Обе они работали копировщицами на судоремонтном заводе, в одном конструкторском бюро. Мама ее выучила и очень любила. Гуля была молодая, веселая, черноглазая, хорошая. После смерти мамы Гуля приходила каждый день. Убирала в квартире, бегала на базар, проверяла Митькины уроки, стирала белье. Гуля жила далеко от городка нефтяников, где был их дом. Она жила на другой стороне города, у моря, в порту. Иногда она не успевала на последний автобус и оставалась ночевать у них. Когда так случалось, отец уступал Гуле и Митьке свою кровать, а сам ложился в другой комнате на диване, на котором обычно спал сын.

Митька очень любил спать с Гулей. Он клал голову на ее теплое плечо, они натягивали одеяло до подбородка, и Гуля шепотом рассказывала ему сказки. А за стеклянной дверью, в комнате, где спал отец, светился красный огонек сигареты. Он почему-то много курил, когда Гуля у них оставалась.

Свадьба эта сделалась для Митьки неожиданно. Однажды, в субботу, он пришел из школы, а на столе в зале – белая скатерть, яблоки, конфеты, вино.

– Вот так! – сказал отец и покраснел. – Тебя ждем. Она теперь всегда будет с нами.

Гуля тихо заплакала.

– Хватит, чего там, ладно тебе, – ласково оборвал отец, положив большую ладонь на тонкое Гулино плечо. – Давайте выпьем лучше!

Гуля вытерла свои черные, блестящие от слез глаза и поцеловала Митьку в лоб. Отец откупорил бутылку шампанского, откупорил слишком умело, без выстрела, как-то совсем неспрашно, словно украдкой. Первый раз в жизни Митька пил вино. Пил на равных. Вино ему нравилось. Он опьянел и просил наливать еще. Отец пожимал плечами, говорил:

– Ну ты, брат, в Африканыча, что ли?

Гуля покраснела, плакала, и смеялась, и все целовала Митьку, и прижимала его голову к своей груди.

Вино скоро разморило Митьку, и ему захотелось спать. Он хотел лечь на кровати, но отец взял его на руки и отнес на диван. Сон так разбирал Митьку, что он не стал спорить. Первый раз они с Гулей не спали вместе. И с тех пор так стало всегда: Гуля, положив голову на твердое отцовское плечо, спала с ним на кровати, и, натянув одеяло до подбородков, они шептались. А сквозь стеклянную дверь было слышно, как ворочается на диване Митька: обидно человеку, что теперь не ему, а отцу рассказывает по ночам Гуля сказки.

Когда по утрам он смотрел на Гулю, как она ходит по комнатам в халатике, который то и дело распахивается, он видел, что ходит она уже совсем не так, как прежде. И отец тоже переменялся. Он целовал Гулю больше, чем его, Митьку, и говорил с нею больше.

Именно после Гулиной свадьбы Митька и нашел материн шарф. Однажды он рылся в диване в поисках какой-нибудь кожаной вещи, чтобы выкроить из нее кожаток для рогатки, и нашел этот синий трикотажный шарфик. Митька поднес его к лицу – и задохнулся: забытые запахи пронизали Митькино сердце горячим щемящим током боли и любви. В первый раз ощутил Митька подлую силу непостижимого грозного понятия – навсегда! Навсегда нет мамы! Навсегда ушла она от него! Через полтора года после похорон заплакал Митька по маме. Он спрятал шарф на груди и больше не расставался с ним. Всю зиму носил он его на шее, а сейчас,

летом, прятал его в коробке из-под набора духов «Красная Москва», где хранились у него самые дорогие вещи: марки всех орденов, финка Рыжего, медный стакан от зенитного снаряда малого калибра...

Целый день Митька бегал с мальчишками по больничной усадьбе, напевал под окошком Адама куплеты. Домой он вернулся в сумерки, голодный и веселый. Во дворе на веревке висело белье и среди белых простыней, наволочек и пододеяльников – синий шарф. Словно кипятком плеснули в лицо Митьке. Подбежав, он сдернул шарф с веревки, прижал к лицу: от него пахло мылом и ветром.

– Митенька, что же ты так долго гуляешь? – нежно позвала его Гуля. Она спускалась с крыльца, прижимая к бедру большой эмалированный таз, чтобы положить в него сухое белье.

– Ты? Т-т-ы! – закричал Митька, протягивая навстречу ей шарф.

– Я, конечно, я! Он же такой грязный был! – непонимающе, радостно улыбалась Гуля. Ей так хотелось всегда услужить своему сыну.

Пригнув голову и весь сжавшись, стоял Митька, лихорадочно подыскивая какое-то такое испепеляющее, такое страшное слово, чтобы растоптать, смести с лица земли и Гулю, и таз, который у нее в руках, и весь этот дом, и двор.

– Ты – собака! – зажмурившись, выкрикнул Митька и бросился вон со двора.

XIX

От шума, с которым упала тренога, и проснулся Митька Кролик. Митька никогда не открывал глаза сразу, а любил потихоньку сквозь ресницы смотреть на мир, любил ловить лицом солнечный луч и глядеть чудные радужные полосы, круги и искристые линии, меняя их формы, смежая или пошире открывая веки. Вот и сейчас Митька едва размежил веки: на голубом фоне отчетливо вырисовывался силуэт лошади с опущенной мордой и странный старик, полулежавший в дуге лошадиной шеи и выпускающий изо рта клубы белого дыма. Митька решил, что это новый сон, но тут Адам закашлялся, и он узнал его и сразу вспомнил, что он бежал из дому, и ему захотелось немедленно излить свою душу, но Адам безучастно курил трубку, и глаза его были устремлены в непонятную Митьке даль. Тогда Митька откинул бушлат и сел. Адам все так же тупо глядел в одну точку, лишь мерин покосился на Митьку своим длинным глазом и добродушно ржанул.

– Привет родителям! – громко и ехидно сказал Митька Кролик и вызывающе сощурил свои лихие глаза.

– Здравствуй, милый! – словно через силу, обернувшись, отвечал Адам.

Такое равнодушие совсем обескуражило и обозлило Митьку, и ему ужасно захотелось досадить Адаму. Его так и подмывало бес выкинуть что-нибудь дикое. Он вскочил на ноги и, пригнувшись, пружиной взлетел вверх, упал животом и забросил ногу на твердую хребтину мерина. Мерин шарахнулся в сторону, поднялся на дыбы. Митька сорвался, соскользнул по его крупу наземь и, больно ударившись коленками, упал ничком и, разрывая руками траву, зарыдал от боли, от злости на свою неудачливость, от того, что Адам к нему так холоден.

– Что? Да что ты? Ушибся? Где? Ну что?... Ну, сам виноватый! – Адам одной рукой ощупывал такие худые, такие отчетливые, как клавиши, теплые под рубашкой Митькины ребра, а другой старался поднять его лицо и повернуть к себе.

– Пусти! – тряхнул плечами Митька и уселся. Слезы текли по его щекам и падали с подбородка на траву.

– Утрись, утрись, Митенька! – суетливо советовал Адам, корявым пальцем неловко пытаясь смахнуть ему слезы. Митька рванул из штанов рубаху и подолом стал вытирать лицо. Синий шарф выпал у него из-за пазухи. Митька быстро схватил шарф и, словно за ним гнались, стал запихивать его в карман. Шарф там не помещался.

– Да что ты его пихаешь? Пусть лежит – не украду. Больно ударился-то?

– Не твое дело! – огрызнулся Митька, продолжая еще яростнее запихивать шарф в карман.

– Дак а на что тебе он? Зима счас, что ли? – делая вид, что не услышал грубости, стараясь разговорить мальчишку, спросил Адам.

– Это мамин шарф, – тихо сказал Митька.

– Ну что с того, что ты с ним делаешь?

– Я его нюхал, – серьезно и печально отвечал Митька. – Я его нюхал раньше, а теперь тут нечего нюхать. На, посмотри! – зло закончил Митька и, выдернув шарф из кармана, ткнул его Адаму под нос. – Чем пахнет?

– Ничем. Матерьялом, трикотажем, – удивленно отвечал Адам, обстоятельно понюхав шарф.

– Мама носила его на голове, – сказал Митька.

– А что же сейчас не носит? – спросил Адам просто так, механически.

– Потому что она умерла. Ты разве не помнишь, что она умерла? Ты разве ее не знал?

– Да-да, точно, оно, конечно... Стар я, забывчив. Оно, конечно, помню. Такая полная женщина, красивая такая, статная! – заглядывая Митьке в глаза, извиняющимся тоном говорил Адам.

– Красивая... – вздохнул Митька. – Только она не полная, она худая была.

– Вот-вот, красивая такая, худощавая из себя, – поправился Адам. – Так и что же с шарфом сделалось?

– Она его постирала, – отрывисто сказал Митька. – Я его прятал и нюхал, когда дома никого не было, а она постирала. Просил я ее как будто.

– Кто постирал, мачеха? – догадался Адам.

Митька слегка задумался. Это слово показалось ему несправедливым в применении к Гуле, и он отвечал раздраженно:

– Какая там мачеха! Не мачеха – она.

– Так сестра?

– Какая сестра? Говорю – она. Ну, не знаешь, что ли? Моего отца жена.

– У-м-мм! – промычал Адам. – И чего же ты теперь надумал? Спал-то почему не дома?

– Мне здесь нравится, – артистически сплюнув сквозь зубы, сказал Митька. – Домой я не пойду, я насовсем сбежал.

– Геройский мужчина! – усмехнулся Адам.

– А ты не смейся! – прервал его Митька. – Я все обдумал: я в армию пойду, в музыкальную команду. У меня слух хороший. Вон, помнишь, у нас на улице Рыжий был – его в музыкальную команду взяли. На горке часть которая, он там на трубе играет. Он меня знает, пойду к нему, не хуже его на трубе играть буду. Отец говорил, у меня талант к музыке.

– Слышал я, слышал, песельник ты хороший! – вспомнив вчерашнее Митькино выступление под его окном, улыбаясь, подтвердил Адам.

– Там кормят три раза и форму дают, и погоны! Понял? – Митька разгорячился, в серых его глазах зажегся огонь действия и веры в свое будущее.

Небо уже совсем поголубело, стало яркое, как лазурь.

В высоких деревьях гомонили полчища проснувшихся воробьев.

– Дай руку! – попросил Адам.

Митька помог ему подняться. Заправил рубашку в штаны и сунул за пазуху свой сокровенный шарф.

С минуту они стояли молча – маленький, злой и непреклонный Митька и старый одноногий Адам, так много переживший в эту ночь. Адам понял все, даже не понял, а почувствовал своим обнаженным сердцем все, что пережил Митька, почувствовал всю горечь его утраты с гораздо большей силой, чем сам Митька. И его собственная беда на время словно отделилась завесой, ушла, уступив место горю этого мальчишки. Все мысли Адама были сейчас о том, что делать дальше с Митькой, с этим лопухим разбойником, который больше других причинял ему зло. Может, поэтому и любил-то он его больше других мальчишек. Было в душе Адама что-то женственное, что-то способное любить боль. Он понимал, что то зло, которое приносили ему мальчишки, – зло слепое, глупое, идущее не от сердца, а от свойственной детству жестокости ради забавы.

– Пойдем, братец, перекусим, – решительно сказал Адам и, похлопав мерина по шее, повернулся и, не оглядываясь, зашагал к своей сторожке. Секунду поколебавшись, Митька пошел следом.

Они вышли на главную аллею. В ворота въезжала «скорая помощь».

– Угадай, за какую машину удобней цепляться? – неожиданно спросил Митька.

– Хм! – сморщил лоб Адам и даже чуть приостановился от странности вопроса. – Не знаю. Когда я цеплялся, машин не было. За карету начальника дистанции очень даже ловко было цепляться, потому что у нее крылья были высокие и кучер кнутом не доставал.

– А кто такой начальник дистанции? – поинтересовался Митька.

– Ну, это я в слободке жил, при станции железнодорожной. Вот главный начальник это был. Дистанция – значит путь от одного места до другого. И вот на всех этих путях он главный хозяин был. Усатый такой мужчина, бакенбардный, в теле! – Лучистая улыбка, словно отсвет далеких дней детства, скользнула по лицу Адама.

Они подошли к сторожке. Внезапно припомнив главное, застеснявшись, насупившись, Адам преградил Митьке вход в сторожку.

– Ты постой, погоди, посиди вот тут, в холодке, – быстро забормотал Адам, – а то на шелковницу полезай, полакомись, пока твоя банда не налетела. А я в комнате уберу, завтрак приготовлю. Сам знаешь: вчера праздновал, поди, спиртным воняет – проветрю.

Митьке дважды не нужно было напоминать о тутовнике.

– Тогда позовешь! – повелительно бросил он через плечо Адаму и мигом взобрался по влажному стволу на самое раскидистое дерево. Карабкаясь с ветки на ветку, он радостно обирал черные, омытые росой ягоды. У каждого мальчишки было на тутовнике свое облюбованное и узаконенное место, своя ветка, на которую он никого не пускал. А теперь, в этот ранний час, Митьке казалось, что этот закон еще не вступил в силу. Скользкое от росы, холодное дерево, облепленное большими, длинными, черными, блестящими ягодами, принадлежало самому себе да ему, Митьке.

С каким-то особенным оживлением Митька уселся наверху в развилке – это была прекрасная ветка, в обыденной их жизни, днем, принадлежавшая Толяну Бубу. Митька давно зарился на это место, но отнимать его у Толяна не рисковал. Митька, хотя и был главным и держал всех мальчишек в кулаке своей выдумкой, отчаянной храбростью и силою, хотя небольшой, но очень резкой, стремительной, ловкой, если сказать правду, в душе опасался Толяна. Толян был слабосильный мальчишка, но в нем был такой запас злости, решимости, даже жестокости, что его все побаивались. На многих примерах мальчишки знали, что Толян ни перед чем не остановится: он может и укусить, и огреть камнем, и ударить в лицо головой, его даже родная мать бить опасалась.

Адам, как бросаются с моста в ледяную осеннюю воду, переступил порог своего дома. Первое, что он почувствовал, было дыхание его дочери – нежный, чуть уловимый аромат удивительных, незнакомых Адаму цветов.

На кровати спал Николай Артемович. Он не слышал, как скрипнула и открылась дверь, как в комнату вошел Адам.

Толстая коричневая тетрадь лежала на табурете перед кроватью. Адам взял ее в руки. Лихорадочно перелистал страницы, унизанные ровным, четким почерком, взял очки с полки и, сев здесь же, на табурете, стал читать...

ТЕТРАДЬ ЛИЗЫ

Я знаю, вначале ты, может, и не прочтешь эту тетрадку, даже вижу гримасу и саркастическое: «Эти женские штучки!» Но когда поймешь, что я не шучу, что простилась навеки, все равно прочтешь – из любопытства или вернется на миг любовь, хотя какая это была любовь... Но так или иначе, а прочтешь и тогда узнаешь и поймешь все.

В твоём присутствии я всегда терялась и слова исчезали, вернее, я могла говорить с тобою обо всем: о политике, литературе, истории, только не о том, что меня мучило неустанно, – о наших с тобой отношениях. Ты должен знать все: я хочу судить тебя и себя.

Я написала это, почти всю тетрадь, еще в июне, когда была в горах с проверкой. Мне захотелось написать все потому, что некуда было деть себя в те длинные вечера, и потому, что в ауле был электрический свет (от собственной электростанции), и потому, что это был именно тот аул, в котором я жила тогда, в войну, и потом позже, и все здесь напоминало мне

о молодости, о главных событиях моей жизни, о пережитом. Именно там я решила порвать с тобой навсегда, поняла, ощутила почти физически, что это необходимо и справедливо и если я этого не сделаю, то для себя самой перестану существовать как человек. Всему есть предел. И унижению тоже.

Начну все с самого начала, и ты не можешь мне возразить. Как хорошо, оказывается, что можно писать! И как трудно говорить. Ты обязательно закрыл бы мне рот поцелуем, и я смирилась бы, мне даже стало бы как-то неловко, что я тебя мучаю воспоминаниями, как ты говоришь, психологией.

* * *

Николай Артемович пошевелился на постели. Адам быстро закрыл тетрадь. Профессор спал. Но, уже напуганный, Адам тихонько, стараясь не скрипнуть, поднялся с табуретки, прошел к посудной полке, привешенной на стене, спрятал там тетрадку за тарелками и аккуратно задернул марлевою занавеску.

Адам понял, что коснулся тайны. Теперь он сможет узнать о своей дочери то, чего не знает даже Маруся.

И он решил ни за что не отдавать тетрадь профессору до тех пор, пока сам не прочтет ее, и уже приготовился выстоять бой, и смотрел на спящего с неожиданно наполнившей душу неприязнью.

– Эх, славно! – открыв свои синие глаза, потянулся в постели профессор. – Гутен морген!

– Взаимно, – пробормотал Адам.

– Заболел, что ли? – удивился профессор его тону. – Ах, ты еще не ложишься! Устал, года не те?...

– Не те, – чтобы не молчать, ответил Адам.

– Сейчас я освобожу тебе жизненное пространство, освобожу, – весело говорил профессор, по-мальчишески легко вскакивая с постели.

Адам отвернулся, чтобы не смотреть на его густо заросшие волосами тонкие ноги и сидящую голову. Ловко одевшись, профессор прошел к голубому умывальнику, что стоял в углу Адамовой комнаты, очень похожей на каюту и своими размерами, и чистотой, и подчеркнутой ладностью в расположении вещей. Умывался он азартно, фыркая, отдуваясь, и Адам почти с ненавистью подумал о том, какой он еще молодой, сильный и энергичный в свои пятьдесят с хвостиком.

– Чисто у тебя. Один живешь, старик, а все вылизано, как в каюте военного корабля, – вытираясь белым вафельным полотенцем, заметил профессор то, чего нельзя было не заметить и что замечали все, кто заглядывал к Адаму. По всему было видно, что профессор проснулся в отличном расположении духа, настолько отличном, что ему хотелось сделать или сказать Адаму что-нибудь приятное. – Я в свое время служил на Балтике. Ну и школил нас боцман! – радостно продолжал профессор. – Всех перезабыл, а его как живого вижу. Украинец, фамилия у него было Горобец, а сам верзила пудов на шесть, не меньше. Ну и давал нам этот Горобец прикурить! Чистоту обожал... Ты бы ему, этому Горобцу, по вкусу пришлось.

– На флоте это так, – сказал Адам опять только для того, чтобы сказать что-нибудь. Все его мысли были заняты лишь одним: «Тетрадь. Сейчас спросит про тетрадь!»

Но профессор о тетради так и не спросил. Лиза не напомнила ему о ней. Она думала, что, проснувшись, он не сможет не увидеть тетрадь: на табурете, рядом с кроватью, она даже его часы положила нарочно на тетрадь.

Профессор взял с табуретки свои золотые кировские часы, завел их, прежде чем надеть на руку.

– Ну, перекусить дашь? – спросил он тоном приказа. – Давай что-нибудь на зубок – и побегу. Работы у меня пропасть. Сейчас шесть. Часов до девяти потружусь, пока тихо. Хорошо, что я у тебя заночевал – двадцать минут чистой экономии. А то я пока сюда из дому приду, двадцать минут пропало. Прогулка, правда, – полезное дело. Но в моем возрасте надо дорожить каждой минутой.

Адам молча достал хлеб, обернутый в чистую наволочку, чтобы не черствел, помидоры, огурцы, пирог, что принесла Маруся, и кусок сала. Вынул из шкафчика початую четвертинку водки и две стопки.

– Ну, ты как на меланьину свадьбу! – усмехнулся профессор, дружески обнимая Адама за плечи. – Это мне на пятитдневку: я с утра мало ем. Ладно, время не ждет.

Профессор первым сел за стол.

– Не прихоти ради – здоровья для! – бодро сказал он тост.

Выпили. Николай Артемович ел с аппетитом юноши. Адам положил в рот лишь ломтик сала. «Как же с тетрадь? Сейчас он о ней спросит, сейчас...» Но профессор, наверное, оттого что ему было все-таки неловко, что он спал у Адама с женщиной, расфилософовался.

Адам молчал.

– Да ты уже спишь! – взглянув на него, сказал профессор. – Спасибо за завтрак! Побегу.

Он быстро поднялся. Вымыл у умывальника руки, тщательно и энергично вытер их и так же энергично вышел из сторожки.

– А он чего тут делал? – Едва вышел профессор, юркнул в дверь Митька.

– Ничего, так, – смутился Адам. – Отдыхал после операции.

– А-а! – протянул Митька уважительно.

– Садись за стол.

– А я непьющий! – стрельнув лукавыми серыми глазами, прищурился Митька Кролик.

– Что ты говоришь! – в тон ему ответил Адам, спрятав бутылку в шкафчик. – Садись, на помидоры и сало нажимай!

Митька вытер руки о штаны и сел за стол.

– Руки от штанов не чище! Вон умывальник!

– Да я так, – недовольно буркнул Митька.

– Так не выйдет. Иди вымой. И лицо вымой – не похудеешь.

– Похудею, – огрызнулся Митька, но пошел к умывальнику.

Умылся нехотя. Это занятие он считал ненужным в человеческой жизни. Все время, пока Митька ел, Адам думал только об одном: «Скорее бы шел он играть». Поэтому и спросил у Митьки нарочно:

– Ты что, спать будешь? Ложись – постелю.

– Тю! – удивился Митька. – Я и так спал сколько. Я пошел, – сказал он, дожевывая на ходу помидор.

– Иди. Только поблизости.

– Угу! – миролюбиво буркнул Митька, признавая отцовские права Адама распоряжаться им. Как только Митька ушел, Адам накиннул крючок на дверь, закрыл постель одеялом, достал с полки заветную тетрадь. Отстегнув култышку, он лег поверх одеяла, удобно примостил под бок подушку, надел очки и стал читать тетрадь Лизы, забыв обо всем на свете.

ТЕТРАДЬ ЛИЗЫ

Среди эвакуированных, с которыми мы добирались до вашего города, у нас почти не было знакомых, знакомых по той давнишней мирной жизни, что была у нас до начала июля 1941 года. Тогда я еще не знала, что все самое главное в моей жизни произойдет в этом городе,

что он станет мне родным, гораздо роднее, чем тот город, который мы с мамой оставили, увозя свое имущество в тачке.

Когда мы пришли в ваш город, в большинстве домов уже не было света. Вы еще спали спокойно, еще никто из вас не знал, что такое война. А мы, бездомные, едва тащили ноги от усталости и презирали всех тех, кто спокойно спал в своих постелях. Еще несколько слов о том, что тебя не касается, так, для себя... Этот день, когда мы ушли из родного города, тот самый день был днем моего рождения. Я забыла тогда об этом, а мама помнила. Она подарила мне ветку яблони с прозрачными золотисто-розовыми душистыми яблоками. Их было шестнадцать – столько, сколько мне исполнилось лет. Меня удивил ее подарок и обрадовал своей какой-то неповторимо горькой красотой. Мама, еще недавно так строго оберегавшая наш маленький сад, ругавшая меня за каждый сорванный нечаянно лист, вдруг сама обломала и принесла мне эту гибкую роскошную яблоневою ветвь, и то, что это сделала она, больше слез, больше крика выдавало ее отчаяние. Да, в тот день моего рождения с рассвета никто не спал, хотя в эту последнюю ночь город не бомбили. Видно, немцы считали его уже своим. По улицам летала бумага, пух перин, горела мельница. Муку и зерно растаскивали горожане. Кто был посильнее да поотчаяннее, те, кто решил остаться в городе, грабили магазины. Во всем этом была какая-то отрешенность, какое-то глухое отчаянье, тяжелое, непоправимое...

Уходя из дому, я взяла только ветку яблони, аттестат зрелости, который так недавно получила, и коробочку с золотой медалью. А мама достала где-то (выменяла на что-то) тачку и совала в нее узлы, подушки, кастрюльки. Меня это тогда поражало и оскорбляло. «Зачем они ей? – думала я с раздражением. – Зачем, если мы бросаем все – город, небо, сад, дом». Я хотела уйти так, в чем стояла, легкой и гордой, а она заставляла толкать вперед эту постыдную тачку, такую тяжелую, громоздкую тачку. Но какую добрую, дорогую службу сослужила она нам потом, эта тачка. Не отъехали мы от дому и двух кварталов, как стали выбрасывать вещи. Над городом кружили немецкие самолеты, и мы даже как-то забыли попрощаться с родным домом. Половину вещей мы выкинули, а половину сменяли на хлеб. А в нашей тачке все мы по очереди везли ребятишек, тех, которые не могли идти сами.

Из своей ветки, которую я вначале так ревностно хранила, мы с мамой съели только одно яблоко, остальными утешили ребятишек, их было в толпе так много. Одно яблоко все-таки съели сами, съели потому, что был какой-то религиозный праздник – Спас, кажется, и мама плакала и молилась. Она вдруг стала удивительно набожной и убеждала, что нам нужно обязательно разговеться и съесть по яблоку. У нас осталось к тому времени их два. Одно мы отдали заболевшему с утра мальчику, а последнее поделили с мамой. Потом мама отрезала от своей половины дольку дяде Мише и тете Соне, а я поделилась с Шурочкой. У этого яблока был волшебный вкус. И подумать только: в это время в нашем саду яблони гнулись от множества плодов, и эти же самые яблоки, горячие от солнца, покрытые густой пылью, перезрев, падали на землю и разбивались, никому не нужные. Нас от них тогда уже отделяли десятки километров, а потом сотни. А я, как леденец, сосала свою дольку.

Когда мы добрались до вашего города, у нас уже не было ни денег, ни сил. А многие собирались ехать за море, в Красноводск. Мы же решили передохнуть здесь. Выйдя на какой-то красивый, заросший деревьями и цветами бульвар, я упала на узел, который опустила на землю мама, и не могла найти силы приподняться, чтобы расстелить одеяло и подушку и дать маме место.

– Посмотри, Лиза, море! – сказала мама и замолчала. Я приподняла голову, потом села, встала на ноги и пошла, пошла к нему, к морю. Оно, оказывается, было рядом, только нужно было перейти полотно железной дороги. Море дышало рядом, колеблющееся, все в золотисто-серебряных, фиолетово-голубых бликах. Я пошла на его тихий свет. Я сняла платье и вошла в воду, которая сразу, словно была живой водой, сняла с меня усталость. Я не умела плавать и стояла по пояс в воде, а волны старались сбить меня с ног. Я вышла, наконец, на берег

и села на еще не успевший остыть песок. Одевшись, укутавшись в платок, я долго-долго смотрела на море. И не было ни пройденных верст, ни горя. Я вдруг стала легкой-легкой и пошла по волнам так свободно, что сама удивлялась, сама себе не верила. Нет, это была правда: легко скользя, я шла по веселым, раскачивающимся, разноцветным волнам. Шла и не верила, шла и боялась, что вот сейчас провалюсь в эту веселую кипящую пучину... Но какое счастье – мне навстречу плыла лодка! В ней стоял мальчишка, такой ясноглазый, с высоким чистым лбом и густым чубом цвета спелой пшеницы, в белой рубашке с расстегнутым воротом и закатанными рукавами. Я так долго, так пристально на него глядела, что запомнила на всю жизнь. Он стоял в лодке и протягивал мне на помощь длинное удилище.

– Лиза, Лиза! – теребила меня мама. – Проснись!

И я открыла глаза. Выходило солнце, и море было совсем-совсем новым. Мне очень хотелось пить, просто ужасно хотелось пить. Вечером, на последнем привале, мы ели покрытую солью ржавую селедку, которую мама выменяла за мою любимую блузку. И мама хотела пить, и Шура, и дядя Миша, и тетя Соня – все. А воды, хотя мы и были у моря, пресной воды нигде не было. Мы с Шурой взяли чайник и пошли искать двор, где была бы колонка. В первых дворах, в которые мы заходили, воды не было. Но вот мы вошли в большой двор четырех этажного дома. Там мы увидели колонку, но открыть кран никак не могли. Я обернулась, ища, кого же позвать на помощь. Тогда первый раз в своей жизни, вернее – второй, я увидела Алешу. Он стоял с удочкой в руке в одном из подъездов и внимательно смотрел на нас.

Шура тоже увидела его и окликнула:

– Молодой человек, помогите нам набрать воды!

Весело насвистывая модный в то время марш «Ну-ка, солнце, ярче брызни!», Алеша подошел к нам. По нашему виду он сразу понял, что мы приезжие.

– Вы эвакуированные? – с жалостью и каким-то жарким, непонятным для нас любопытством спросил он. – Ну что там, как там?

– Там? – усмехнулась Шурочка. – Там немец... А я смотрела, смотрела на него и не верила своим глазам. «Что же это такое? – думала я. – Что же это творится? Или я опять сплю? Именно этого мальчишку я видела сейчас там, во сне, на берегу, когда шла по морю. Он был в лодке. Как мог он мне присниться, если сейчас я его вижу впервые?» – недоумевала я. Вот. Ты теперь знаешь, как мы встретились с Алешей. Я никогда тебе этого не рассказывала, никогда. Почему? Не знаю.

Помнишь, у меня было черное платье с гипюром, такое нарядное платье. Ты говорил, что очень его любишь. Так жаль, что я его не сохранила как реликвию. Когда я болела, его украла у меня знакомая, которая привозила ко мне в больницу лед, доставая его с таким трудом (откуда тогда было взяться льду!), бегая по всему городу. Она спасла мне жизнь и украла любимое платье. Она была молоденькой женщиной. Тогда так трудно было с тряпками, а оно ей шло, очень шло к лицу. Я на нее даже не рассердилась, а очень пожалела ее. Зачем она так все испортила, испачкала, измельчила? Я бы это платье отдала ей с радостью и еще себя бы счастливой считала. А она спасла мне жизнь и украла платье и при встрече перебежала на другую сторону улицы...

Я теряю нить, но прости, иногда мне кажется, что ты чем-то похож на мою знакомую. Я опять отвлеклась, а так хочется все по порядку, чтобы была логика. Я знаю, что только она тебя может убедить – логика. Ну а где мне взять ее, если вся наша любовь, вся эта преступная и такая мучительная для меня связь ничего общего с ней не имеет, с ней, с твоей уважаемой логикой?! И все-таки логика восторжествовала. Мой отъезд, мое твердое решение уйти от тебя сейчас – так логично, так естественно. Именно теперь, когда умерла твоя жена, мать Алеши, когда, казалось бы, ничто не стоит между нами. Я боюсь одиночества, но еще сильнее я боюсь тебя, потому что с тобой еще более одинока.

Да, я так боюсь одиночества... Ты умный, ты очень умный, я знаю, ты все понимаешь, поэтому и пишу. У тебя нет «дощечки» в голове, знаешь, такой, которая, к сожалению, бывает у многих. Помнишь, мы с тобой однажды долго говорили об этой «дощечке»? Я имею в виду гибкость ума и душевную тонкость, способность понимать сердцем. Я не знаю, как это выразить словом, понятием. Скорее всего, это глубина души. У одних душа совсем неглубокая, почти плоская, ограниченная. Вот говоришь с человеком и ясно чувствуешь, как ударяешься в эту самую «дощечку». Мне почему-то эти «дощечки» кажутся такими медными, с прозеленью. Наверное, с этими «дощечками» родятся на свет, во всяком случае это ни в какой степени не зависит от образованности и так называемой культуры человека. Я знала много людей в высшей степени образованных, увенчанных всякими дипломами и титулами, знающих музыку и литературу, щеголяющих знанием языков и вместе с тем не могущих понять, казалось бы, самые простые вещи, самые несложные движения души. Знаешь, пожалуй, ярче других об этом написал Экзюпери в своем «Маленьком принце». Конечно, ты помнишь его рисунок № 1 и рисунок № 2 и вообще всю эту прелестную, и мудрую, и печальную, и чистую, как солнечный луч, сказку. Я знала людей совсем простых, малограмотных, которые понимали ВСЕ, потому что дана была им мудрость сердца, чуткая душа – самое высокое, что может быть в человеке, чего не получишь ни в каком институте, не купишь, не возьмешь напрокат.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.